



ПОСЛЕДНЯЯ МОНА ЛИЗА

ДЖОНАТАН САНТЛОУФЕР

Арт-триллер для поклонников Дэна Брауна

Джонатан Сантлоуфер

Последняя Мона Лиза

Серия «Роман с искусством»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69497326

*Последняя Мона Лиза: Издательство АСТ; Москва; 2023
ISBN 978-5-17-146908-5*

Аннотация

О чем молчит загадочная «Мона Лиза»?

Август 1911 года. Винченцо Перуджа пробирается по темным коридорам Лувра, снимает «Мону Лизу» со стены и уносит ее в парижскую ночь. Через два года картина снова оказывается в Лувре.

Более века спустя профессор истории искусств Люк Перроне приезжает во Флоренцию, чтобы узнать о самом известном преступнике своей семьи – Винченцо Перудже. Знакомясь с дневником знаменитого прадеда, он оказывается втянутым в рискованное приключение. Перроне еще и не подозревает, что люди, занимающиеся кражей и подделкой произведений искусства, не только беспринципны, но и опасны...

Удастся ли герою раскрыть тайну кражи «Моны Лизы»? И что скрывалось за этим похищением?

Автор детективных романов и знаменитый художник Джонатан Сантлоуфер рассказывает захватывающую историю

о краже «Моны Лизы» из Лувра в 1911 году, появившихся в результате этого подделках, а также читатель узнает о современной изнанке мира искусства.

Содержание

1	10
2	14
3	23
4	30
5	39
6	41
7	54
8	58
9	68
10	70
11	79
12	82
13	91
14	94
15	99
16	110
17	112
18	116
19	119
20	128
Конец ознакомительного фрагмента.	129

Джонатан Сантлоуфер

Последняя Мона Лиза

© Jonathan Santlofer, 2021

© Яковлев А., перевод, 2022

© ООО «Издательство АСТ», 2023

* * *

Основано на реальных событиях

*Посвящается Джой, которой эта книга
написана с самого начала, но которой, увы, не
довелось увидеть ее завершения.*

*«Подделка – это двойное убийство, ибо она
лишает первоизданного существования как оригинал,
так и копию».*

Мадам де Сталь

«В мире нет ничего оригинального».
Джим Джармуш

21 августа 1911 года

Париж, Франция

Всю ночь он провел, скорчившись в темноте, и перед его мысленным взором проносились адские, как на картинах Босха, сцены: какие-то отвратительные чудовища, корчащиеся в пламени люди... Он безотрывно вглядывается во тьму, понимая, что в таком же мраке проведет остаток своих дней.

«Мы теряем то, что недостаточно ценим», – крутится в голове единственная мысль, пока он надевает поверх уличной одежды свой рабочий халат, застегивает его и открывает дверь чулана.

В музее темно, но он без труда находит дорогу, пробираясь по длинной галерее. Расположение залов он знает прекрасно; чувство вины только подогревает его решимость. Хищная тень крылатой Ники Самофракийской пугает его до дрожи, хотя ему душно в застоявшемся воздухе.

Знакомое лицо выныривает из темноты, как призрак: красивые губы потрескались, кожа стала серой. Откуда-то доносится детский плач. Он затыкает уши и всхлипывает, изгибаясь то в одну, то в другую сторону, словно ища во тьме свою утраченную любовь и своего ребенка; он шепчет их имена, и

стены зала надвигаются, склоняясь к нему, а ощущение пустоты внутри усиливается, пока, наконец, не охватывает его целиком: он как будто становится полым. Тогда он понимает, что чувство опустошения, которое так долго его не отпускало, было предчувствием, предпросмотром остатка жизни: он привыкал быть покойником.

«Чьи это шаги?»

Но нет, сейчас раннее утро, к тому же понедельник, музей закрыт для посетителей. Застыв на месте, он вглядывается в полумрак галереи, но ничего не видит. Должно быть, померещилось; ему уже трудно отличить реальность от воображения. Приставив к уху руку в перчатке, он прислушивается, но вокруг тихо, слышно лишь его собственное тяжелое дыхание и лихорадочный стук сердца.

Еще несколько шагов через арку и галерею Двора Висконти – зал с высокими потолками, на стенах которого помещаются картины размером с фреску. Полотна в темноте выглядят черными прямоугольниками, но ему нетрудно их представить: пейзаж Коро, знаменитая батальная сцена Делакруа, «Коронация Наполеона» кисти Жака-Луи Давида – диктатор в возмутительном наряде, в плаще из шкуры животного и венце из плюща, с самодовольным и торжествующим выражением лица.

Именно в тот момент, когда он представляет себе Наполеона, его воспаленное воображение изобретает то самое объяснение, которое позже будет напечатано в газетах: «Я

украд картину, чтобы вернуть ее на родину».

Тогда он превратится из безродного иммигранта в патриота и героя.

Уже более уверенно, сосредоточенно и целеустремленно он движется по следующей, узкой галерее. Он всем покажет, кто он такой.

В малой галерее Квадратного салона он едва различает силуэты картин Тициана и Корреджо и мерцающий между ними приз – дама среди скал, недремлющий вампир, самая известная женщина в мире – «Мона Лиза».

Пока он выкручивает железные болты из маленькой деревянной панели, сердце его бешено колотится, нервные окончания покалывают, в голове проносятся десятки мыслей. Одержимый своей затеей, он не замечает собственного искаженного отражения в стекле, которое сам же и вставлял всего лишь на прошлой неделе.

На все уходит пять минут.

Потом он, прижав к груди картину, неслышной тенью скользит из одного зала в другой, затем вниз по галерее на лестничную клетку, где останавливается, чтобы снять с картины тяжелую раму со стеклом и оставить их здесь. И вновь он движется по узкому коридору, обставленному мраморными скульптурами, теперь уже быстрее, потев и тяжело дыша, ныряет под арку и, наконец, добирается до бокового выхода Порте-дез-Ар. Все проходит в точности, как планировалось, мечта сбывается... Вот только дверная ручка не поворачи-

вается.

Он дергает и крутит, тянет и трясет ее, но ручка не шевелится; и единственное производимое движение – бег его отчаянных мыслей.

Глубокий вздох, затем еще один, и тут его осеняет: отвертка, ну, конечно! Тем же самым инструментом, которым он только что вывинчивал болты, он откручивает фурнитуру замка; наконец, дверная ручка падает ему на ладонь, и он прячет ее в карман рабочего халата, который затем снимает, плотно скатывает и засовывает за пояс на спине.

Подрамник с картиной он прячет под рубашку; старое полотно царапает его кожу, когда он застегивает поверх рубашки пиджак. Его сердце бьется об лицо таинственной четырехсотлетней красавицы, которая не раз становилась свидетельницей собственного похищения, наблюдала за многочисленными аудиенциями со стены спальни Наполеона, выдержала взгляды миллионов зевак, и теперь, уставшая и измученная жизнью, она жаждет отдыха – но ее история еще далека от завершения.

Декабрь 2019 года,

Флоренция, Италия

Карло Бьянки приложил платок к носу, утирая сопли. Его магазинчик на Виа Страчателла, недалеко от Понте-Веккьо, был маленьким и тесным: книги стояли на полках, лежали на столе и на полу стопками, похожими на миниатюрные деревни индейцев майя. Пыльный магазин весь пропах плесенью и сыростью.

Бьянки искал книгу об устройстве садов рококо – насколько он помнил, она была где-то здесь. Наконец, она нашлась в самом низу высокой стопки. Лежа на боку и подметая бородой пол, он вытаскивал книгу, когда вдруг увидел перед своим лицом мужские кроссовки на толстой подошве.

Бьянки едва не вывернул шею, пытаясь с пола рассмотреть незнакомца.

«*Posso aiutarla?*»¹

Мужчина посмотрел на него сверху вниз:

¹ «Я могу вам помочь?» (итал.)

– Вы говорите по-английски?

– Да, – ответил Бьянки, поднимаясь на ноги и отряхивая пыль со штанов и куртки. – Когда всю жизнь имеешь дело с книгами, выучиваешь много языков.

– Я ищу дневник, рукописный журнал, который вы недавно купили у французского книжного торговца по имени Пеллетье.

– Пеллетье? Точно не помню. У меня это должно быть отмечено в списке недавних покупок, – Бьянки сделал вид, что роется в ворохе квитанций, лежавших на столе. Он помнил каждую книгу, которую продал или купил, в том числе у французского букиниста Пеллетье, но он никогда не разглашал личных данных своих клиентов.

– Дневник был написан больше ста лет назад, – добавил посетитель.

Пеллетье клялся, что продал дневник этому Бьянки, а мало кто из людей способен лгать, только что лишившись пальца и рискуя потерять второй.

– Вы никак не могли забыть такую покупку, – незнакомец положил ладонь на руку Бьянки и прижал ее к прилавку.

– Си, си, я вспомнил, – заговорил продавец. – Такой рукописный дневник, на итальянском языке?

Мужчина отпустил его руку, Бьянки поспешно убрал ее и попятился, едва не кланяясь.

– Мне очень жаль, но... этот дневник... я уже продал его.

– Кому?

– Одному старичку-коллекционеру, он собирает всякую всячину.

– Как его зовут?

– Я не пом...

Незнакомец схватил Бьянки «за грудки» и приподнял его, оторвав от пола.

– Имя? Быстро!

– Г-гульермо, – выдавил Бьянки, размахивая руками и су-ча ногами в воздухе.

Мужчина разжал руки, и Бьянки неловко приземлился, опрокинув высокую стопку книг.

– А где бы мне найти этого Гульермо?

– Он... он... э-э... – Бьянки запнулся, переводя дыхание, – профессор... в университете... во Флоренции, но... но, по-моему, сейчас он на пенсии.

Он украдкой бросил взгляд в окно – нет ли там случайно кого-нибудь, кого он мог бы позвать на помощь – однако посетитель тут же загородил его собой.

– Адрес!

– М-мне кажется, его можно узнать в университете...

Незнакомец посмотрел ему в глаза таким тяжелым взглядом, что Бьянки тут же принялся листать свою картотеку. Найдя нужную карточку, он хотел зачитать адрес, но мужчина выхватил картонку из его пальцев.

– Вы ведь сами не читали этот дневник, верно?

– Я? Нет-нет! – потряс головой Бьянки.

– Но знаете, что он был написан по-итальянски...

– Мне, должно быть, Пеллетье сказал... а может, я взглянул на одну страничку, не больше.

– Ясно, – губы незнакомца растянулись, обнажив прокуренные зубы, карточка исчезла у него в кармане. – И вы никому не скажете, что я приходил, ни этому Гульермо, никому другому...

– Нет, синьор, нет. Даже Пеллетье. Я ни словечка никому не скажу.

– Конечно нет, – произнес незнакомец.

Бьянки еще пытался восстановить дыхание и равновесие, когда посетитель вдруг ударил его кулаком в грудь. Взмахнув руками, торговец опрокинулся на другую стопку книг.

Мужчина поднял его, ухватил руками за горло, сдавил и начал душить. Бьянки хотел взмолиться о пощаде, но смог издать лишь несколько сдавленных писков; комната поплыла перед его взором.

– Нет, ни словечка не скажешь, – произнес мужчина, почувствовав, что гортань букиниста хрустнула под его пальцами.

Два месяца спустя

Из-за письма, пришедшего на электронную почту менее двух недель назад, я утратил способность думать о чем-либо другом и бросил все дела ради призрачной возможности. Можно сказать, причуды. И вот я здесь. Пытаясь справиться с волнением, я остановился и размял затекшие мышцы, затем покати́л чемодан по длинным переходам, ощущая смесь утомления и возбуждения после восьмичасового перелета из Нью-Йорка, где тоже, в общем, было не до сна.

Аэропорт Леонардо да Винчи напоминал большинство себе подобных безликой многолюдностью и ярким, режущим светом. Тот факт, что он был назван в честь Леонардо, показался мне пророческим, хотя назвали его так, конечно, не для меня. Я взглянул на часы: шесть утра. Затем я поискал поезд в город, нашел его и, гордясь этим достижением, рухнул на свое место и закрыл глаза. В голове комариной стойкой вился сразу десяток мыслей.

Тридцать две минуты спустя я оказался на Рома Термини, огромном многолюдном вокзале, в котором пульсировал гудящий рой пассажиров. Поезда, парившие прямо за билет-

ными киосками, изрыгая в зимний воздух белые дымки, придавали ему некоторые элементы романтики.

Итак, я врезался в людскую толпу – «*Scusami, scusami*»² – с благодарностью вспоминая родителей, которые с малых лет обучали меня родному языку, и пошел от одного поезда к другому, сжимая в руке билет, ища глазами на большом табло Флоренцию и чувствуя, как уходит минута за минутой. В итоге я чуть не опоздал на свой поезд, потому что в расписании был указан лишь его конечный пункт назначения, Венеция. Как бы мне хотелось побывать в Венеции. Ну, как-нибудь в другой раз; а сейчас я приехал по делу.

Поезд до Флоренции оказался новым, чистым, с удобными сиденьями. Я поставил свой чемодан на багажную полку, снял рюкзак, уселся и тут же пару раз клюнул носом – при этом перед глазами возникали какие-то летящие по воздуху страницы, которые я пытался и никак не мог поймать.

Чтобы прогнать сон, я выпил кока-колы и стал смотреть в окно. Равнинные пейзажи постепенно сменились холмами, за которыми возвышались далекие горы со средневековыми городками на макушке. Вся обстановка казалась мне немного нереальной, словно я смотрел кино, а не ехал к открытию, которое, как я надеялся, должно было дать ответ на загадку столетней давности и увенчать мои двадцатилетние исследования судьбы самого известного преступника в нашем роду.

Через полтора часа я вышел из шумного вокзала Сан-

² «Извините, извините» (*итал.*).

та-Мария-Новелла в центре Флоренции и поволок свой чемодан по ее мощеным улочкам. Неяркое солнце то пряталось, то выглядывало из-за низких облаков, воздух был свежим и холодным. Я воспроизвел в памяти события последних двух недель: получение электронного письма; покупка билета с открытой датой; поездка в итальянское консульство, где я, используя все свое обаяние, уговорил тамошнюю молодую сотрудницу выдать мне культурное «*пермессо*»³, а также письмо, удостоверяющее, что я являюсь профессором искусств в университете, и предоставляющее доступ в итальянские культурные учреждения; затем звонок двоюродному брату в Санта-Фе. Он скульптор, всегда готовый ставить арт-сцены в Нью-Йорке, и он был страшно рад возможности снять мой лофт в Бауэри. Неделей позже я завернул картины в пузырчатую пленку, передал занятия в колледже своему дипломнику и взял отпуск за неделю до конца сессии – рискованный шаг для преподавателя, надеющегося получить профессорскую должность.

Перейдя широкую улицу перед вокзалом, я нырнул в лабиринт узеньких улочек, пытаясь следовать указаниям GPS своего сотового, который то и дело менял маршрут. Дважды мне пришлось поворачивать обратно, но все же минут через десять я добрался до Пьяцца-ди-Мадонна – большой прямоугольной площади, над которой возвышалась крашеная охрой часовня с куполом из красного кирпича – и разглядел

³ Разрешение (*итал.*).

там старинную электрическую вывеску с названием нужной мне гостиницы: «Палаццо Сплендор».

Вестибюль гостиницы был размером с небольшую манхэттенскую кухню. Давно не крашенные стены, полы из сильно потрескавшегося бело-пестрого мрамора, единственное украшение – выцветшая черно-белая фотография статуи Давида Микеланджело.

– Люк Перроне, – сказал я сидевшему за столом молодому парню: покрытые расплывшимися татуировками жилистые руки, дымящаяся сигарета, все внимание на зажатый между ухом и плечом мобильник – этакая наркоманская эстетика.

– *Пассапорто*, – отвечал тот, не поднимая глаз. Когда я спросил на своем лучшем итальянском, могу ли я оставить свой чемодан и вернуться попозже, он поднял вверх палец, как будто я мешал его беседе. Явно личной, если только он не называл всех жильцов гостиницы «иль мио аморе». Не дожидаясь ответа, я поставил чемодан и направился к выходу.

Гугл-карты сообщили, что монастырь Сан-Лоренцо располагается в пяти минутах ходьбы от меня, и я думал, что легко туда доберусь. Но сначала я пошел не в ту сторону, потом понял, что держу карту вверх ногами. Я вернулся, еще раз обогнул купол часовни на Пьяцца-ди-Мадонна и пошел по указанному маршруту мимо громоздившихся друг на друга красно-коричневых строений, затем вдоль длинной, до конца квартала, неровной каменной стены с нишами в виде

арок со ступеньками. Площадь Сан-Лоренцо была пустой и почти безлюдной, если не считать нескольких туристов и пары монахов в длинных коричневых хламидах.

Я осмотрелся, начиная понимать, что все окружающее и увиденное ранее – часть огромного единого комплекса.

Базилика песочного цвета прямо передо мной казалась грубо сработанной и незавершенной, три ее арочных входа с тяжелыми деревянными дверями были закрыты. Слева от церкви находилась арка поменьше, за ней – темный переулок, который привел меня в знаменитую обитель Сан-Лоренцо – место, которое я раньше видел лишь на фотографиях.

Сделав несколько шагов, я словно очутился в дивном сне: квадратный садик с шестиугольными изгородями и двухэтажной лоджией, классический и гармоничный – все это спроектировал мой любимый архитектор эпохи Возрождения Брунеллески. На мгновение я попытался представить себя живописцем времен Высокого Возрождения, а не каким-то нью-йоркским художником, который бьется за кусок хлеба и преподает историю искусства, чтобы оплачивать счета.

Я вздохнул, и мое дыхание обратилось в парок. Утро было холодное, и все во дворе покрылось серебристым инеем. Три монаха в длинных шерстяных балахонах обматывали растения мешковиной, и я в своей тонкой кожаной курточке озяб до дрожи. Не думал я, что во Флоренции будет так холодно.

Если честно, после получения того письма я вообще мало о чем думал.

«Уважаемый мистер Перроне, одна из последних просьб профессора Антонио Гульермо заключалась в том, чтобы я связался с Вами по поводу найденного им дневника, предположительно написанного Вашим прадедом. Профессор собирался опубликовать какую-то работу об этом дневнике, которая должна была стать «откровением», как он утверждал. К сожалению, внезапная смерть помешала ему даже написать ее.

Сам дневник вместе с другими книгами и бумагами профессора был передан в дар Лаврентийской библиотеке во Флоренции. Я составлял каталог его работ и уложил журнал в коробку с надписью «Мастера Высокого Возрождения».

Чтобы увидеть бумаги профессора Гульермо, Вам нужно получить культурное permesso, полагаю, это не составит большого труда.

Если будете запрашивать эти бумаги, советую Вам не упоминать сам дневник и прошу не ссылаться на меня при составлении запроса.

Искренне Ваш,

Луиджи Кватрокки

Quattrocchi@italia.university.org»

Я сразу же связался с Кватрокки по электронной почте. Судя по ответу, тот был в здравом уме и не собирался меня

разыгрывать. Он подтвердил факт существования дневника, хотя и не мог поручиться за его подлинность.

Уже много лет я рассылал письма, простые и электронные, в поисках хоть какой-нибудь информации о прадеде. Большинство из них оставались без ответа, а те отклики, что я получал, неизменно требовали денежных затрат, но не давали результатов. На сей раз информация пришла сама, бесплатно, и за ней не скрывалось никакого лукавства – во всяком случае, не просматривалось.

– Простите, синьор, – ко мне приближался один из монахов, молодой, с рыжей бородой и поразительно голубыми глазами. – Вы ждете, когда откроется библиотека?

– Ну, да! – отрезал я, потом извинился. – Вы говорите по-английски?

– Немножко, – ответил он.

Тогда я сказал, что владею итальянским.

– *Il bibliotecario e 'spesso in ritardo*, – сообщил монах. Понятно, библиотекарь часто опаздывает. Я взглянул на часы: ровно десять, и библиотеке уже пора было открыться.

Монах спросил, откуда я.

– Приехал из Нью-Йорка, но родом из Рагузы, – ответил я, хотя никогда не бывал в этом сицилийском городке. Откуда на самом деле вела происхождение моя семья, мне не хотелось говорить. В мои намерения вообще не входило что-либо сообщать о себе.

– Брат Франческо, – представился монах, протягивая ру-

ку.

– Люк Перроне. – Я оглянулся на дверь библиотеки.

– Она скоро откроется, – заверил монах. – *Pazienza*.

Да, терпение. Вот уже чего мне всегда не хватало, особенно теперь, когда я бросил все ради какой-то бредовой идеи.

Я проследил, как брат Франческо вернулся в сад к собратьям, что-то шепнул им, и все три монаха поглядели в мою сторону, прищурившись, должно быть, от зимнего холода и света. Отойдя в тень арки, подальше от их глаз, я прислонился спиной к колонне и представил свое жилище в Бауэри и свою довольно хаотичную коллекцию, которую я начал собирать еще мальчишкой, когда мы жили в Бэйонне в штате Нью-Джерси. Теперь она занимала целый угол моей студии: копии газетных статей столетней давности, поэтажный план музея, где путь следования моего прадеда был отмечен красным маркером, нескораемый картотечный шкаф, набитый вырезками с подробностями той кражи. Один из его ящичков я отвел под письма, которые еще подростком начал писать всем, кто мог хоть что-нибудь знать о преступлении моего прадеда, и ответы на них, немногочисленные и мало что проясняющие.

Холодный ветер пронесся по обители, заставив меня поежиться. Еще сильнее я вздрогнул от чьего-то похлопывания по руке. Это оказался тот же молодой монах.

– *Mi scusi, ma la biblioteca e' aperta.*⁴

⁴ Извините меня, но библиотека открылась (*итал.*).

Я коротко кивнул ему и направился по арочной дорожке к деревянной двери, которая теперь была открыта.

Штаб-квартира Интерпола

Лион, Франция

Джон Вашингтон Смит еще раз перечитал электронные письма. В его обязанности, как у каждого сотрудника Интерпола из отдела краж произведений искусства, входил просмотр всех сводок, а также веб-сайтов торговцев антиквариатом, картинных галерей и всех, кого можно было заподозрить в нелегальной купле-продаже краденых старинных изделий и тому подобного. Все эти сведения постоянно обновлялись на одном из трех его мониторов. Особый интерес для него – с годами ставший чем-то вроде навязчивой идеи – представляла кража знаменитой картины Леонардо в 1911 году, события, произошедшие за время ее двухгодичного отсутствия, а также подозрение, что в Лувре теперь находится поддельная Мона Лиза. За эти годы Смит не раз слышал, что укравший картину Винченцо Перуджа вел в тюрьме дневник – но слух этот до сей поры не находил подтверждения. Однако вот правнук вора Люк Перроне – американский худож-

ник и искусствовед, за которым он следил уже много лет – упоминает этот дневник в переписке по электронной почте с каким-то итальянским профессором.

Смит снял очки и потер переносицу, пытаясь унять боль между глазами. Много часов приходилось ему проводить, глядя на мониторы, расположенные буквой «П» и занимавшие большую часть стола. Его белый пластмассовый рабочий стол на металлических ножках чем-то напоминал инопланетный корабль. Беспроводная клавиатура и мышь тоже были белого цвета, как и тумба с ящиками для бумаг по ту сторону стола. Белый потолок. Белые стены. Бледно-серое покрытие пола, имитирующее ворсистый ковер, пружинило под ногами. Смит порой задавался вопросом, что проектировщики этим хотели обеспечить – здоровье ног сотрудников Интерпола или практически полную тишину в помещении. Впрочем, большой роли это не играло, потому что все его коллеги носили кроссовки или мягкую обувь. Сам Смит тоже ходил в фирменных белых кроссовках на толстой подошве, которые он чистил зубной щеткой.

Смит еще раз пробежал взглядом электронные письма, пытаясь унять волнение и прикидывая варианты дальнейших действий. Можно было бы сообщить местным властям и попросить их понаблюдать за Перроне и этим итальянским профессором, или выпустить уведомление, пометив его одним из восьми цветов, которыми Интерпол обозначает предполагаемые правонарушения, из которых красный присва-

ивается делам наивысшей важности. Но здесь не было никаких свидетельств преступления или хотя бы нарушения. Смит никак не смог бы убедить генеральный секретариат выпустить такое уведомление.

Он еще раз взглянул на левый монитор, куда выводились данные о предметах, числящихся сейчас в международном розыске, и дате их пропажи. Кража и подделка произведений искусства – серьезные преступления, и вовлеченные в них коллекционеры, воры и посредники нередко оказываются людьми не просто непорядочными, а опасными. Согласно статистике Интерпола, кражи предметов искусства по важности идут сразу после торговли оружием и наркотиками, для третье-четвертое места с отмыванием денег. К своей работе Смит относился серьезно, как и ко всем своим занятиям, например, ежедневной гимнастике и тяжелой атлетике, добавившей немалую мышечную массу его почти двухметровому телу. Быть или показаться кому-то слабым – одна мысль об этом была невыносимой для парня из «домов Баруха» на Манхэттене⁵. Джон вырос без отца, хоть и взял его фамилию в качестве второго имени, чтобы сделать свое чуть более запоминающимся.

Смит посмотрел на часы: близился полдень. Кроме головы, начала побаливать спина от четырехчасового сидения

⁵ «Дома Баруха» – жилой комплекс в Нью-Йорке для малообеспеченных семей, построенный в 1959 году и названный в честь Бернарда Баруха, советника и доверенного лица шести президентов США.

перед компьютером и нелегкой поездки от дома – маленькой квартирке на окраине Лиона – до монолита из стекла и стали, в котором находится штаб-квартира Интерпола. Этот путь по оживленным городским улицам он проделывал дважды в день.

Нужно было сделать перерыв, покурить и поразмыслить.

Цилиндрический лифт доставил его к восьмиугольному внутреннему двору в середине здания. Здесь уже стояли несколько человек, хотя в холодном тесном дворике они выглядели какими-то ненастоящими, как андройды. Может быть, и я похож на робота, подумал Смит. Хотя роботы вряд ли курят «Мальборо Лайт». Он затаился, прикидывая в уме плюсы и минусы того, что собирался сделать, и что, как он знал, явно противоречило правилам Интерпола.

Взгляд вверх, на маленький восьмиугольный кусочек неба, вызвал в его памяти сомкнутые стены «домов Баруха» – оба здания имели сходство с тюрьмой, хоть на здешних стенах и не было граффити, а в их тени никто не продавал наркотики. Ирония судьбы, подумал Смит, променял одну тюрьму на другую. А ведь когда-то казалось, что эта дорога принесет успех и славу. Неужели уже слишком поздно? Еще одна затяжка – и мысль оформилась, словно кто-то написал ее дымом в легких или голове, как рекламный самолет оставляет за собой надпись в небе: *если тебе суждено прославиться и преуспеть, то именно сейчас*. Сейчас или никогда. Смит опасно посмотрел на стоящих во дворе людей,

словно они тоже могли прочитать эту мысль. Да, ему приходилось в жизни делать всякое. Кое в чем он даже никому не признавался. Но способен ли он на *этот* поступок?

Докурив, он продолжал думать. Думал, стоя в поднимавшемся лифте. Продолжал думать и взвешивать все, что стояло на кону, когда шел по своему тихому этажу, мимо аналитиков, сидевших в открытых боксах или маленьких звукопоглощающих камерах для конфиденциальных бесед. Он на секунду задержался у стеклянной стены конференц-зала, где проходило совещание аналитиков, на которое его не позвали, затем, стиснув кулаки и набычившись, быстро прошел мимо и нырнул в свое эргономичное кресло.

В свои сорок семь лет он оставался рядовым аналитиком криминальной разведки, одним из многих в отделе краж произведений искусства. Каждый год у него на глазах другие, менее преданные делу, обгоняя его, поднимались по служебной лестнице вверх, к Генеральной ассамблее, высшему руководящему органу Интерпола. Двадцать лет сбора и исследования данных, целых двадцать лет с момента окончания Нью-Йоркского колледжа криминальной юстиции имени Джона Дэя по специальности «обработка данных и криптография», и чем в итоге он может похвастаться? Все так же торчит за компьютером по десять часов в день.

Смит тяжело вздохнул, откинулся на спинку кресла и уставился на длинные плоские лампы сверху, источавшие теплый свет. Надо что-то делать. Совершить что-то выдаю-

щесся, чтобы о нем заговорили; показать этим людям наверху, чего он стоит.

Склонившись к мониторам, он еще раз перечитал переписку двух ученых мужей, затем переслал ее всю на свой личный электронный адрес на сотовом – так, чтобы никто не увидел и не задавал лишних вопросов. Потом он перевел курсор на колонку файлов с материалами о той знаменитой краже, которые он собрал за много лет, и открыл папку «Перроне». На центральный монитор вышли все собранные им данные об этом человеке: переписка о прадедушке, в которую Перроне вступал с разными людьми на протяжении почти двадцати лет, его выставки и преподавательская работа, отстранения от занятий в старших классах (их было четыре: одно за курение в туалете, два за драку в классе, одно за связь с уличной бандой), список женщин, с которыми Перроне встречался дольше полугода (их было много, на каждую имелась подборка информации), вождение в нетрезвом виде в шестнадцать лет, арест за проникновение в чужое жилище со взломом – судимость снята по причине несовершеннолетия, но Смит, как служащий Интерпола, смог получить доступ к полицейским отчетам в Бейонне⁶, а заодно и данные о родственниках Перроне.

Смит добавил в эту подборку последние электронные письма. Он нашел телефон районного управления карабинеров во Флоренции, чтобы информировать местные власти,

⁶ Небольшой город в штате Нью-Джерси.

как предписывала поступить инструкция Интерпола. Смит уже начал набирать этот номер на своем мобильнике, но остановился на секунду, еще раз оценил последствия – и вместо этого позвонил в аэропорт и заказал себе билет во Флоренцию.

Флоренция, Италия

Пройдя в открытую дверь в углу клуатра⁷, я поднялся по крытой лестнице на лоджию, подгоняемый долго копившейся внутренней энергией. Наверху мое внимание привлекла блеклая фреска с изображением Благовещения, но я не стал задерживаться. Сидевшая у входа в библиотеку охранница порылась в моем рюкзаке и показала жестом, что я могу пройти.

Знаменитый вестибюль Лаврентийской библиотеки, построенный пять веков назад, оказался намного меньше, чем я себе представлял, но это было не важно. Все, что я увидел – величественная лестница работы Микеланджело; она заполняла вестибюль и была похожа на живое, дышащее существо. То было движение, застывшее в камне – мне даже представилось, что он когда-то выплескивался сюда в жидком виде, как волны расплавленной лавы, и постепенно затвердевал, образуя ступени.

Центральная лестница была перекрыта, поэтому я свернул на малую боковую и стал подниматься – медленно, сту-

⁷ Окруженный стенами внутренний двор монастыря.

пенька за ступенькой, как будто двигался по ним не только вверх, но и в прошлое.

Передо мной простерлась библиотека, длинная и прямоугольная, она внушала почтение и благоговение. Стараясь шагать только по ковру, покрывавшему изящный мозаичный пол, я пошел по центральному проходу, оглядывая кесонный деревянный потолок и витражные окна, заливавшие теплым солнечным светом деревянные церковные скамьи. В памяти всплыло детское впечатление: я сижу на такой же скамье, зажатый между матерью и отцом, и всякий раз, когда отец повторяет слова молитвы, меня окатывает его обычным утренним пивным перегаром, и мне хочется куда-нибудь убежать.

Потом до меня вдруг дошло, что скамейки огорожены сигнальной лентой, и кроме меня в библиотеке нет ни одного посетителя. За секундной растерянностью последовала паника: разве может дневник храниться здесь, в этом мавзолее? Здесь вообще бывают читатели? Может быть, Кватрокки все это выдумал?

Я повернул назад и обратился к молодой женщине, сидевшей за столиком у входа.

– Scusami...⁸ – это слово прозвучало неожиданно громко, эхом отозвавшись в пустом помещении. – Как мне... заказать книги... документы?

– Здесь? – она поджала губы. – Это невозможно. Это па-

⁸ «Извините» (*итал.*).

мятник культуры. Больше не действующая библиотека.

– Что? С каких пор?

– Давно уже. Моя мама сюда ходила, но это было тридцать лет назад.

– Нет, этого не может быть... Я приехал издалека... – со-
бравшись с мыслями, я открыл рюкзак и достал «пермессо»
и рекомендательное письмо. – Но у меня есть... это.

Служащая пробежала взглядом документы.

– Все в порядке.

– Да? Как? Если библиотека закрыта...

– *Devi calmati, signore.* Успокойтесь, – она ласково похло-
пала меня по руке. – Вам нужна научная библиотека. Это
рядом. Спросите у охранницы на улице.

Я глотнул воздуха, какое-то время осмысливал ее слова,
затем поблагодарил, развернулся и ринулся вниз по парад-
ной лестнице Микеланджело, на сей раз практически бегом.

Охранница у входа внимательно прочитала письмо, а за-
тем указала на тяжелую деревянную дверь с узором из гвоз-
дей, шляпки которых напоминали застрявшие пули. Рядом
с дверью висела потертая металлическая табличка «*Medicea
Laurenziana Studios*», а также современный цифровой замок
и звонок, который я с силой нажал.

Дверь мне открыла женщина лет сорока пяти, одетая в ве-
селенькое цветастое платье. Больше в ней ничего веселого не
было: короткая стрижка, поджатые губы, висящие на шейной
цепочке очки, которые она подняла к глазам, чтобы изучить

мои документы. Затем она молча вернула их мне и пропустила в приемную. Там она забрала у меня рюкзак и жестом предложила пройти через рамочный металлоискатель.

После тревожного сигнала я выложил из кармана ключи и мелочь в ее требовательно выставленную ладонь. Затем еще раз прошел через рамку.

Металлоискатель заверещал снова. Женщина сделала знак, чтобы я подождал, и вернулась с седобородым мужчиной в мешковатом шерстяном жилете. Тот, стараясь не встречаться со мной взглядом, хлопал меня со всех сторон: грудь, спину, бока, ноги с внешней и внутренней стороны, у самого паха.

Суровая дама вынула из моего рюкзака мобильник, показала его мне, а другой рукой указала на табличку на стене: Niente Telefono. Niente Fotos⁹.

– Это останется у меня, – сообщила она. – Возьмете, когда будете уходить.

Телефон отправился в проволочную корзинку на столе, а охранница продолжила рыться в моем рюкзаке. Найдя коробочку леденцов, она принялась осматривать ее так внимательно, словно это была бомба.

– Карамелла, – объяснил я. – Конфетки, понимаете?

– Mangiare nella biblioteca e' vietato!¹⁰ – прогавкала она в ответ.

⁹ «Не пользоваться телефоном. Не фотографировать» (итал.).

¹⁰ «Прием пищи в библиотеке запрещен» (итал.).

Я поклялся ничего не есть и машинально перекрестился (остаточный тик строгого католического воспитания). Она посмотрела на меня, прищурившись. Я пригладил волосы за ушами, жалея, что не постригся и не нашел времени побриться. Я снова ощущал себя школьником, которому директор вот-вот скажет: ты отстранен от занятий.

Женщина достала из рюкзака мой ноутбук, отложила его в сторону и наткнулась на пакетик «Джолли Ранчерс»¹¹. «Mangiare vietato!»¹² – повторила она и бросила пакетик в проволочную корзинку. Затем она сунула ноутбук обратно, вернула мне рюкзак, еще раз пристально посмотрела на меня и произнесла несколько слов по-итальянски, обращаясь к обыскавшему меня мужчине, словно я не мог ее понять. А сказала она: «Проводите его в читальный зал, но присмотрите за ним».

Седобородый провел меня через маленькую комнату, в которой имелись: картотечный каталог во всю стену, деревянный стол со стеклянной столешницей, уставленный книгами, и большой шипящий радиатор. За ней оказался собственно читальный зал для научных работников: ярко освещенная комната средних размеров, вдоль стен которой тянулись полки с книгами, а посередине стоял длинный стол. Две библиотечарши, сидевшие за столиками поодаль, подняли на меня глаза. Бородач тоже оказался библиотечарем.

¹¹ Конфеты фирмы Hershey.

¹² «Еда запрещена» (*итал.*).

Он сказал, что его зовут Рикардо, и вообще, скрывшись с глаз строгой начальницы на входе, стал гораздо обходительнее. Приглушенным голосом он сообщил, что длинный стол предназначен для таких научных сотрудников, как я, и что я могу заказывать любые книги и материалы у сидящей здесь старшей библиотекарши, а затем представил меня ей.

Та подняла очки на лоб, застенчиво-кокетливо кивнула и протянула руку; ногти у нее были выкрашены в ярко-розовый цвет. Это была очень привлекательная женщина лет пятидесяти, узкий свитер соблазнительно обтягивал ее фигуру. Гортанным хриловатым шепотом она спросила, откуда я приехал, и когда я ответил, что из Нью-Йорка, сообщила, что никогда там не была, но хотела бы съездить. Я ответил на своем лучшем итальянском, что если она соберется к нам, то я с удовольствием ей все покажу. Женщина улыбнулась, бросила взгляд в сторону приемной и попросила простить, если «Муссолини» на входе доставила мне какие-то неудобства. Старшую библиотекаршу звали Кьяра, и она изъявила готовность оказать мне любую помощь. Потом она чуть повернула голову в сторону соседнего столика.

– А это Беатрис, – произнесла она, – иль мио ассистенте.

Ассистентка, молодая женщина лет двадцати, в толстых очках и мешковатом свитере, подняла голову, быстро и неуверенно улыбнулась мне и тут же вернулась к работе.

Кьяра вручила мне бланк запроса, который я заполнил в точности как советовал Кватрокки: Гульермо, Мастера Вы-

сокого Возрождения. Библиотекарша внимательно прочитала запрос и передала его Рикардо. Когда тот, прихватив с собой сеточную тележку для книг, удалился в хранилище, Кьяра продолжила интервью: бывал ли я раньше в Италии? есть ли у меня здесь друзья или родственники? надолго ли я приехал? После чего она предложила мне устраиваться поудобнее за длинным столом – где больше нравится – и провожала взглядом, пока я шел к своему месту. Место я выбрал так, чтобы сидеть лицом к ней, но как можно дальше. Мне почему-то хотелось спрятаться – желательно, ото всех.

Устроиться поудобнее не получилось, хоть я и попытался: мне вот-вот предстояло узнать, существует ли этот дневник на самом деле, и эта мысль держала меня в тревожном напряжении.

В зал вошли двое мужчин и сели на другом конце стола: обоим за тридцать, оба в очках, один с коротко подстриженной бородой, другой с усами, эспаньолкой и «хвостиком» на затылке.

Чтобы чем-то занять себя, я достал ноутбук и включил вилку в одну из розеток на столе. Потом откинулся на спинку стула, непроизвольно начал барабанить ногтями по столешнице – и тут же перестал: звук получился гулким, и все в комнате оглянулись на меня. Я виновато улыбнулся им, потом закрыл глаза и вспомнил свой домашний «алтарь» в Бауэри, годы напряженного расследования этой истории вокруг прадедушкиной кражи – теории без выводов, вопросы без

ответов. Услышав звук приближающейся тележки, я открыл глаза и увидел, что Рикардо везет в мою сторону длинную плоскую коробку из белого картона. Он выложил коробку на стол передо мной и откатил тележку в сторону.

Несколько секунд я смотрел на нее, затем дотронулся, как будто не веря, что она настоящая. Потом поднял крышку.

В коробке лежала стопка картонных папок, надписанных аккуратным почерком: «Высокое Возрождение во Флоренции», «Раннее Возрождение в Сиене», «Заметки по маньеризму». Несомненно, Гульермо был очень обстоятельным исследователем. Я вынул из коробки одну папку, вторую, третью, четвертую... стопка папок на столе все росла. Выложив еще несколько, я увидел ее – синюю тетрадь, перетянутую грубым шпагатом. Я судорожно вдохнул и украдкой поглядел перед собой, затем вбок: Кьяра изучала какие-то документы, Беатрис сортировала карточки в каталоге, а оба читателя, обложившись книгами, печатали что-то у себя в ноутбуках.

Я поставил крышку коробки на одну из библиотечных подставок для книг, закрывшись ей, как щитом. По бокам от него я воздвиг небольшое укрепление из папок, изо всех сил стараясь, чтобы эти действия казались непреднамеренными. После этого я вынул из коробки тетрадь и развязал бечевку. Обложка истрепалась, и я перевернул ее, как мог, осторожно. Бумага была не разлинованной и немного пожелтела.

Внизу первой страницы я увидел подпись, сделанную ка-

рандашом, аккуратным мелким почерком: Винченцо Перуджа.

Потянувшись к своему рюкзаку, я достал отскерокопированный образец подписи прадеда, сделанной на обороте полицейской фотографии. Приложив образец к тетрадной странице, я сравнил его с почерком в дневнике. Почерк был одинаковым.

Под подписью Перуджи тем же мелким почерком были выведены слова: *La mia storia*.¹³

¹³ Моя история (*итал.*).

21 декабря 1914

Тюрьма Муратэ, Флоренция, Италия

«Non ho dormito in molte notti...»

Я не спал много ночей.

Матрас тонкий. Переворачиваясь, я каждый раз чувствую каменный пол. В камере очень холодно. Штукатурка на стенах отсырела. Тюрьма не отапливается. Одежда у меня потертая и колючая. Я хожу туда-сюда, чтобы согреться. И считаю шаги. Шаги делаю маленькие, ступня к ступне. Шесть шагов в ширину. Девять в длину.

Умывальника здесь нет. Туалета нет. Раз в неделю можно помыться в душе. Одно окошко с решеткой. На самом деле никакое это не окно. Оно выходит в узкий коридор, откуда охранники наблюдают за нами. Единственная отрада – ежедневная прогулка во внутреннем дворе. Туда тоже солнце не осмеливается заглядывать.

Я вспоминаю суд, и мне становится стыдно. Я спорил с судьей, с прокурором и даже со своим адвокатом. Прики-

дывался сумасшедшим страдальцем. Патриотом, так сказать. Но какой из меня патриот.

Приговор вынесли мягкий. Год и три месяца. Я заслуживал более строгого наказания.

Каждый день я получаю подарки. Сигареты. Вино. Продукты. Приходят письма от женщин, которые признаются мне в любви! Но самый драгоценный подарок – это тетрадь и карандаш, которые дал один сжалившийся охранник. Если бы Симона видела меня сейчас, сочла бы она меня глупцом? Я сижу в тюрьме, а те два мерзавца на воле. Я думаю о них днем и ночью. Как получить с них то, что мне причитается. Как поквитаться.

Я стараюсь сдерживать дрожь, когда пишу. Чтобы не дрожал карандаш.

Закрывая глаза, я вижу нашу квартирку на улице Рампоно. Вижу, как поднимаюсь по старым деревянным ступенькам и открываю дверь. Меня встречает Симона. Мне становится так грустно и тоскливо, что слезы текут из глаз.

Но надо решить, с чего начать. Как объяснить, почему моя жизнь пошла под откос.

Можно сказать, что началось все с хорошей новости.

*Декабрь 1910**Париж*

– Ах, Винсент, Винсент, я так счастлива, – Симона кружилась вокруг их «постели». Постель состояла из лежащего на полу матраса, покрытого двумя рваными шерстяными одеялами, поверх которых красовались три вышитые подушки – она купила их на огромном рынке Ле-Аль. Причем удачно купила; она вообще была приметливой и постоянно искала недорогие способы украсить их унылое жилище. Ее глаза блестели, густые светлые волосы вихрем кружились вокруг прекрасного овального лица.

Винченцо смотрел, как она кружится, и ему казалось, что душа у него словно раскрывается – его до сих пор удивляло, что эта умная и нежная красавица отдала предпочтение ему, хотя при желании могла заполучить любого мужчину в Париже. Ее свободное, слегка приталенное платье – единственная уступка ее нынешнему положению – поднялось, приоткрыв краешек нижней юбки и туго зашнурованные ботильо-

ны. Ботильонам было уже три года, но на Симоне все казалось модным. Свои грубые черные чулки она носила как на улице, так и дома. В этом году декабрь в Париже выдался серый и мрачный, и в их старом шестиэтажном доме было холодно, как на какой-нибудь сибирской заставе.

Симона игриво дернула Винченцо за куртку.

– Радуйся, я настаиваю! – воскликнула она и снова начала кружиться, но сразу же остановилась, задохнувшись.

Винченцо обнял ее за талию, но она отстранилась, словно хотела сказать «не нужно меня держать, я не упаду», и все же руку он не убрал.

– Все хорошо, – заверила она.

– Милая, отдохни, пожалуйста.

– Нет, со мной все в порядке. – Она надула алые губки, затем изобразила улыбку и добавила. – Эта выставка – как раз то, о чем ты так долго мечтал.

– Да, – ответил он и честно попытался порадоваться, но что-то мешало. Вместо облегчения он чувствовал себя так, словно какой-то узел затянулся внутри.

– Le Salon de la Nationale!¹⁴ – в голосе Симоны звучала гордость. – Лучшие произведения парижского искусства, и как раз в его двадцатую годовщину, это важнее и значительнее, чем в другие годы! Говорят, что Роден будет выставляться. Представь себе, Винсент, твои картины рядом с бронзо-

¹⁴ «Национальный салон». Выставка французского Национального общества изящных искусств.

выми шедеврами Родена!

Он кивнул, позволив себе немножко погордиться.

– Ах, Винсент, это же так чудесно! – произнесла она, все еще тяжело дыша.

– Симона, сядь, пожалуйста.

– Да я просто закружилась, глупости. Со мной все хорошо.

Винченцо посматривал на нее, пока открывал коробку «La Paz», вытряхивал щепотку табака на бумажку и скручивал большим и указательным пальцами тоненький цилиндр. Взгляд на сигарету вызвал в его памяти слова Поля Сезанна о видении конусов, сфер и цилиндров в природных объектах – слова, которые Пикассо и Брак, и даже его старый друг Макс Жакоб, воспринимали всерьез.

– Эти кубисты... – произнес он, словно выплюнув последнее слово.

– О, Винсент, пожалуйста, только не сейчас, – Симона строго посмотрела на него. – Ты должен быть счастлив! Я настаиваю!

Он вздохнул, пытаясь осмыслить и прочувствовать тот факт, что две его картины в этом сезоне войдут в экспозицию крупнейшей парижской выставки.

– А что, огонь потух? – спросил он, чтобы переменить тему, и скрылся в другой комнате, их единственной другой комнате, которую Симона превратила в сказочный мир, разрисовав стены ветвями плюща и винограда в стиле китайских свитков.

Мисс Стайн¹⁵, побывав у них в гостях, назвала эту роспись любопытной и забавной, хотя поначалу думала, что это работа Винченцо. С Симоной она общалась мало, и во время их последнего визита на улицу Флерюс 27 та была поручена ее жуткой подруге с крючковатым носом, мисс Токлас, которая всегда разговаривала с женами. Это было почти год назад. Их обычные походы по выставкам и студиям становились все реже, потому что Винченцо делался все более замкнутым, даже озлобленным, но Симона надеялась, что после выставки все переменится.

Она остановила Винченцо, собиравшегося подкинуть в печь поленьев.

– Не трать дрова. Пойдем погуляем. Такое событие нужно отпраздновать!

Она крепко обняла его за шею и поцеловала в щеку.

Ему хотелось сказать: «А где мы возьмем денег?» Его скудное жалованье уходило на книги, краски и кисти, а остаток они откладывали для будущего ребенка.

– Будем веселиться, и все! – топнула ногой Симона. – Не смейте спорить со мной сегодня, месье Перуджа!

– Я и не спорю, – ответил он. Да и как бы он посмел? Симона никогда ни на что не жаловалась: ни на холод, ни на общий санузел в коридоре, ни на безденежье. Мог ли он отказать ей в маленьком празднике?

¹⁵ Американская писательница Гертруда Стайн, проживавшая долгое время в Париже.

Он посмотрел на ее прелестное лицо, слегка располневшее из-за беременности, и выдавил из себя улыбку. Подумать только, скоро он станет отцом. Но беспокойство не отпускало. С прошлой зимы у Симоны тянулась череда недомоганий и заболеваний, она постоянно кашляла и простужалась вплоть до воспаления легких. Хотя сейчас она просто сияла от счастья.

– Хорошо, – сказал он, шагая между стопками книг. Многие страницы в них были загнуты и исписаны пометками – результат его неизбывного стремления компенсировать отсутствие официального образования. – Мне надо кое-что рассказать тебе о том, что я делал сегодня в Лувре.

– Расскажи!

– Не сейчас, – поддразнил он ее. – За ужином скажу.

Симона за пару минут заколола волосы под своей шляпкой-клош и надела толстый свитер, который уже сидел на ней в обтяжку.

– Пойдем. – Она протянула мужу изящную руку.

На улице Винченцо обнял Симону за плечи, и она прижалась к нему сбоку. Он почувствовал гордость и слабую надежду. Может быть, эта выставка поможет продать хоть несколько картин, им ведь так нужны деньги. Да, заверил он себя, все наладится. Он заметил, что Симона засунула руки под свитер, придерживая ими увеличившийся живот. Ему все еще не верилось, что у них скоро будет ребенок.

Они пересекли канал Сен-Мартен. «Построен Наполео-

ном», — сообщил Винченцо: голова его была забита множеством прочитанных фактов. Затем они взобрались на один из холмов, по которым проходит улица Бельвиль, и остановились, чтобы полюбоваться сверху видом на город, украшенный газовыми фонарями вперемежку с новыми электрическими лампочками, похожими на раскаленных светлячков.

— Здесь всегда так красиво. — Симона выдохнула вместе со словами легкое облачко пара.

Винченцо промолчал; Париж не был его родиной и не стал ему домом. Он так и не прижился здесь и в отсутствие Симоны все время чувствовал себя приезжим. Едва они вышли из своего бедного «цыганского» района, запах подкисшего козьего молока и мусора сменился чистым холодным воздухом, приправленным ароматом каштанов — их продавали на каждом углу в маленьких бумажных пакетиках, которые Винченцо иногда приносил домой. Он запивал каштаны холодным белым вином и называл это ужином.

Когда Симона устала, они сели в один из новых моторных омнибусов и поехали на площадь Вогезов, окруженную прекрасными домами и особняками, в которых, как заметил Винченцо, когда-то заходили кардинал Ришелье, Виктор Гюго, куртизанки и королевы. Однажды, думал Винченцо, они купят себе такой же роскошный дом. Симона, женщина, которую он несказанно любил, этого заслуживала.

Улица Риволи была запружена транспортом — новые авто-

мобили и такси вытесняли лошадиные упряжки – и они выбрались из омнибуса и пошли вдоль реки, где было потише. Деревья стояли голыми: серые стволы, тонкие ветки. Буксир тащил по реке баржу, над которой с пронзительными криками кружила стая морских птиц. Налетел ветер, он растрепал густые черные волосы Винченцо и принялся задирать широкую юбку Симоны, которую та старалась придержать.

– Любимая, ты не замерзла? – спросил Винченцо, которого все время беспокоило хрупкое здоровье жены.

– Нет! – ответила она, совладав, наконец, с юбкой и улыбаясь. – У меня все в полном порядке!

Он понимал: Симона не признается, что озябла, чтобы не испортить этой прогулки вдвоем. Он улыбнулся ей – Винченцо так редко это делал в последнее время – и поцеловал в лоб. Они пошли дальше, обсуждая, где бы поесть. Симона предложила одно кафе, Винченцо – другое, подешевле. Потом он вдруг заявил:

– Мы поужинаем в «Чудесной рыбалке»!

– Что? – Симона даже остановилась и повернулась к нему. – Со мной сейчас действительно Винченцо Перуджа – мужчина, который не жалуется на отсутствие денег, только когда спит?

– Неправда, я никогда не сплю, – парировал он, и сказал при этом правду, но сказал ее смеясь, и Симона подхватила этот смех. – У нас ведь праздник, кутить – так кутить!

Он крепче обнял ее за плечи, и они пошли мимо статуи

Генриха Четвертого, где остров Сите резко обрывался, через небольшой прибрежный парк. Поодаль на реке буксир выпускал в небо клубы дыма: все в серых и черно-белых тонах, как у Эдуарда Мане, которым Симона восхищалась и даже подражала ему в своих картинах.

Сразу за парком располагался ресторан с видом на Сену. Внутри было уютно и шумно, пахло морепродуктами и табачным дымом.

– Устрицы, – провозгласил Винченцо, когда они, по его настоянию, уселись за столик у окна. – И бутылку вашего лучшего «мюскаде».

Официант выгнул бровь.

– Какие-то проблемы? – Винченцо хмуро посмотрел на него, разглаживая свой поношенный пиджак.

– Нет, месье, – ответил тот и поспешно удалился.

– Ты видела, как он на меня посмотрел? Так, как будто мне здесь не место, как будто я бродяга или преступник какой-нибудь!

– Успокойся, – попросила Симона. – Не порть наш праздник. Ничего не было.

– Ничего? Он посмотрел на меня так, словно я какой-нибудь нищий, который пришел ограбить этот его пафосный ресторан!

– Винсент, пожалуйста, не сейчас.

Винченцо смиренно склонил голову. Тогда Симона приподняла его подбородок своей изящной рукой и сообщила:

– Я сижу с самым умным и красивым мужчиной в этом зале.

– Самым умным?

– А кто больше всех читает ученых книжек? Хотя звание самого красивого тебя, похоже, больше устраивает? – продолжала она. – А скоро ты станешь самым успешным!

Винченцо невольно улыбнулся.

Принесли устриц, Винченцо и Симона выжали на них лимон и стали неторопливо есть, прихлебывая соленую воду из раковин. Они допили бутылку вина, и Винченцо, возможно, немного захмелев, заказал еще одну, чтобы выпить ее с *potmes de terre à l'huile*, запеченным в масле картофелем, и теплым хрустящим хлебом.

– Так что ты хотел рассказать мне о своей сегодняшней работе? – спросила Симона.

– Ну, ты же знаешь Гастона Тикола, который руководит у нас отделом реставрации, этого тирана и негодяя, который все время называет меня «иммигрантом» и помыкает, гоняет меня туда-сюда... – Винченцо тяжело вздохнул. – Не обращай внимания. Я хотел сказать, что сегодня он поручил мне закрыть некоторые картины стеклом.

– Закрывать стеклом? Но их же будет невозможно рассмотреть из-за бликов...

– Возможно, но в музее решили, что сохранность шедевров важнее. Да и не в этом дело. Интереснее то, какие картины будут убраны под стекло и с какой картиной мне сегодня

пришлось работать.

Симона наклонилась над столом, огни свечей отражались в ее глазах, придавая им золотистый оттенок.

– С какой же?

Винченцо несколько секунд помедлил. Ему доставляло удовольствие выражение любопытства на лице любимой.

– Угадай, – предложил он, широко улыбаясь – это случилось так редко, что Симона приняла игру и задумалась, постукивая пальчиком по губам.

– «Аллегория» Курбе?

– Да нет, это слишком большая картина, чтобы закрывать ее стеклом, ты же знаешь. – Улыбка сошла с его лица, а подслеповатый левый глаз сердито прищурился.

– Ой, ну, не смотри на меня так, – попросила Симона.

Ему стало стыдно за свою несдержанность по отношению к этой замечательной женщине, но ему хотелось подать свою историю так, чтобы заинтриговать Симону и донести до нее тот трепет, который он испытал.

– Сделай еще одну попытку.

– Может, тот ужасный Тициан в Квадратном салоне?

– Теплее, теплее...

– Говори же! – дотянувшись через стол, Симона игриво шлепнула его по руке.

– Не кто иной, как сама мадонна Леонардо.

– Нет! – она широко раскрыла глаза. – Не может быть!

– Да! Я держал ее в руках.

– «Мону Лизу»! Врешь!

– Вот так держал, у самого лица, – Винченцо показал пальцами один сантиметр. – Я мог рассмотреть все детали – горы и тропинки, тщательно прописанные волосы, даже трещинки на лаке.

Глаза Симоны распахнулись еще шире.

– Ну, и как, Винсент? Что ты чувствовал?

Этот вопрос застал его врасплох. Что он чувствовал? Волнение? Да. Возбуждение? Безусловно. Хотя спустя несколько месяцев он признается себе, что уже в тот момент почувствовал зависть – зависть к Леонардо, создавшему то, что ему самому никогда не удастся, нечто совершенное во всех отношениях – и желание навсегда удалить его творение из этого мира.

– Могу я увидеть ее? – спросила Симона.

– Конечно. Ты можешь в любой день прийти на это унылое кладбище искусства и поглазеть на эту картину, как и все остальные.

– Ах, Винсент, как ты можешь такое говорить. Ведь когда-нибудь и твои работы, а может, и мои, окажутся на таком же кладбище. Но я имела в виду, когда ты в следующий раз возьмешь картину в руки, могу ли я прийти и посмотреть на нее в твоих руках?

– Тикола никогда этого не позволит.

– Ну, тогда у меня есть идея получше. Принеси мне картину на дом, и я повешу ее над нашей постелью!

Симона рассмеялась, и Винченцо посмеялся в ответ, но про себя подумал, что принес бы картину домой, если бы мог. Ради этой женщины он готов был сделать все что угодно, вообще, буквально.

Когда они, покончив с ужином, допивали сладкий кофе со сливками, Симона сказала: «Ах, Винсент, это было прекрасно» – и он согласился с ней. Хотя, несмотря на все выпитое и съеденное, ощущал какую-то пустоту внутри.

После ужина они гуляли в саду Тюильри, возле фонтана, где была отключена вода, и прямоугольных клумб, на которых не было цветов. Винченцо обнимал Симону, и она делала вид, что ей тепло, а он притворялся, что сыт и доволен, хотя чувство странного опустошения не отступало.

Заметив, что Симона дрожит, он настоял, чтобы домой они поехали на омнибусе, невзирая на расходы. И потом, уже после того, как они позанимались любовью, он лежал на матрасе, держа руку у нее на животе, и смотрел, как она спит, осторожно укрыв ее шерстяным одеялом до самого подбородка – даже в тот момент, когда он восхищался красотой этой принадлежавшей ему прекрасной женщины, он чувствовал ту пустоту в душе. И позже, когда он так и не смог заснуть и встал, чтобы пройти по комнате, расписанной зеленым виноградом и плющом, и посмотреть в окно на освещенный луной недостроенный купол новой церкви Сакре-Кер, он чувствовал все ту же пустоту.

Он достал из стопки книг стихи Бодлера «Цветы зла»

и прочел строфу о смерти и разложении. Дрожащими руками он быстро вернул книгу на место, хотя слова поэта остались в его мыслях незатухающим эхом.

Утром Симона проснулась простуженной и чувствовала себя так плохо, что не пошла на свою работу в галантерейный магазин. Винченцо перед уходом заварил полный чайник чая и подбросил в печь побольше дров, чтобы ей было тепло, пока он трудится в музее.

На прощанье он поцеловал Симону – и в этот момент вновь почувствовал, даже сильнее, чем раньше, ощущение пустоты, хотя все еще не мог понять, чем оно вызвано.

Лишь спустя несколько месяцев он понял, в чем дело, но к тому времени было уже слишком поздно.

*Лаврентийская библиотека**Флоренция, Италия*

Меня отвлек от чтения звук чьих-то шагов. Звонко постукивая по деревянному полу высокими каблуками сапог, в зал вошла молодая блондинка. Я проводил ее взглядом, пока она шла к столику Кьяры, стягивая на ходу длинные кожаные перчатки каким-то театральным жестом, словно играла на сцене. Наши взгляды встретились, но она, казалось, смотрела не столько на меня, сколько сквозь меня, и может быть, меня и вовсе не увидела. Потом она, наклонившись, заполнила бланк запроса и стала ждать свои книги, стоя спиной к залу и каким-то завораживающим движением похлопывая парой перчаток по ладони. Ее шерстяное пальто было цвета охры, как и многие здания, увиденные мной во Флоренции, и я подумал, не купила ли она его, чтобы слиться с окружающей обстановкой, хотя пальто было явно недешевым, из тех, что бросаются в глаза.

Когда Рикардо принес ей книги, она одарила его такой

широкой улыбкой, что он даже смутился. Прижав книги обеими руками к груди, как школьница, она направилась к столу. Другие мужчины, как я заметил, тоже оторвались от работы и смотрели на новую читательницу. Она выбрала себе место подальше от всех нас и неторопливо устроилась, предварительно сняв пальто и повесив его на спинку стула. Несколько секунд она изучала одну книгу, затем другую, тербя свои белокурые пряди, выбившиеся из общего пучка, в который были забраны ее волосы. Я делал вид, что продолжаю читать, но никак не мог оторвать глаз от плавного изгиба ее шеи. Она бросила на меня быстрый взгляд, и я уткнулся обратно в дневник, пытаясь вспомнить, зачем пришел сюда, и вернуться мыслями к прочитанному.

За долгие годы поисков мне ни разу не доводилось слышать, что мой прадед был в числе художников Национального салона. Возникал вопрос, не помешало ли ему что-нибудь участвовать в выставке. Надо сказать, до сей поры я не встречал и сведений о том, что он вообще был художником. Новость эта была для меня утешительной и имела смысл: никто из моих родителей, бабушек и дедушек, насколько я знал, не занимался искусством, и вот, наконец, в моем роду нашелся художник. Я пытался представить себе, какие картины писал мой прадед, и надеялся, что когда-нибудь это выясню. Записав себе для памяти, что нужно будет ознакомиться с экспозицией той выставки, я взглянул на часы. К моему удивлению, близился уже час дня – то есть за чтением пролетело

все утро. Я бы и еще с удовольствием поработал, но библиотека закрывалась на обед, а у меня была назначена встреча с Луиджи Кватрокки – человеком, чье письмо привело меня сюда.

Прежде чем вернуть коробку библиотекарям, я аккуратно уложил обратно дневник и тщательно прикрыл его папками профессора Гульермо. Я уже ощущал себя как бы владельцем этого дневника, словно все эти годы он ждал меня и только меня.

Я мог бы пройти к двери со своей стороны стола, и здесь было ближе, но вместо этого я пошел вокруг дальнего конца, где сидела блондинка. Когда я проходил мимо, она подняла глаза, и мы еще раз обменялись взглядами. Она была даже красивее, чем мне показалось вначале: лицо ее словно светилось изнутри, а осанка была как у школьницы за партой. Не твоего поля ягода, сказал я себе, и все-таки, не удержавшись, еще раз посмотрел на нее – и наши глаза снова встретились, но она сразу же отвела взгляд, поспешно уткнувшись в книгу, словно я застал ее за чем-то постыдным.

«Муссолини» на вахте вновь забрала у меня рюкзак, порылась в нем, потом вернула, а заодно и мой телефон. Когда я напомнил про леденцы, она вынула их из проволочной корзины, держа коробку кончиками пальцев, словно там был какой-то яд, и она боялась к нему прикоснуться, а затем направила меня к рамочному металлоискателю таким толчком, который трудно было назвать деликатным.

У выхода я задержался, чтобы посмотреть на садик с возвышения, откуда была лучше видна его шестиугольная форма. Бросив взгляд на противоположную сторону клуатра, я заметил в тени верхней аркады какое-то движение. Мне показалось, что это был человек в обычной светской одежде, не монах. Разглядеть я его не успел. А может быть, там никого и не было.

Стены ресторана были выкрашены в кремовый цвет и увешаны обрамленными кадрами из старых черно-белых итальянских фильмов. В собравшейся здесь молодежи я без труда угадал студентов – они во всем мире выглядят одинаково. Здешние были разве что чуть более стильно одеты: мальчики в обернутых вокруг шеи шарфах, девочки в пуловерах с треугольным вырезом и обтягивающих джинсах. Грузный мужчина, старше меня лет на тридцать-сорок, помахал мне рукой, и я стал пробираться к нему между тесно стоящими столиками. В ресторане былолюдно и шумно, типовой техно-поп задавал ритм обычному гаму, все разговаривали и курили так, что у меня защипало в глазах.

Когда я приблизился, Кватрокки кивнул, и мы обменялись рукопожатиями. Ладонь у него была сухой и теплой.

– Как вы меня узнали?

– Погуглил, – ответил он. – Там же есть фотографии. С позволения сказать, в жизни вы гораздо лучше выглядите. Извините, если я говорю что-то не так. Вы ведь только что приехали. Наверное, очень устали?

– Ни капельки, – произнес я, и это была правда: несмотря на разницу часовых поясов и утро, проведенное в библиотеке, я ощущал небывалый прилив энергии.

Кватрокки в своем парчовом жилете и узорчатом галсту-

ке выглядел джентльменом эдвардианской эпохи и резко выделялся на фоне студентов, некоторые из которых, проходя мимо нашего столика, кивали и приветливо улыбались ему.

– Они явно вас любят, – заметил я.

– Как и я их... хотя работа преподавателя порой – сущий ад.

– Это точно, – согласился я. – Похоже, вы из Англии? Не итальянец?

– Нет, просто я учился в Оксфорде. От некоторых словечек и акцента трудно избавиться, да я, если честно сказать, и не пытался, – ответил Кватрокки. – Держу пари, вы думали, что я ношу очки.

– Почему? А... ваша фамилия. Понимаю. Кватрокки – по-итальянски значит «четырёхглазый». Нет, мне это не приходило в голову.

– Значит, в вашей школе так не дразнились. – Кватрокки приподнял графин. – Вина?

Когда я ответил, что предпочитаю газировку, он нахмурился и принялся убеждать меня, что стакан вина только улучшит мое настроение.

– Чересчур улучшит, – возразил я, вспомнив свои запойные дни и ночи.

Кватрокки подозвал официанта, спросил разрешения сделать заказ за меня и велел принести суп минестроне и бутылку пеллегрино¹⁶.

¹⁶ Минеральная вода «San Pellegrino».

– Фирменное блюдо заведения, лучшее в меню, – затем он подался вперед так, что пуговицы жилета готовы были оторваться, и спросил почему-то шепотом. – Вы видели дневник?

– Да. Он лежал на самом дне коробки, спрятан под папками.

– Правда? А мне казалось, что я клал его сверху. Старею, наверное. Да я и так уж старый, – он провел рукой по своим редким волосам, зачесанным вперед в тщетной попытке скрыть уже обозначившуюся лысину. – Забыл, должно быть. Тяжелый это был период, когда Тонио ушел и... Ну и как, интересный он, этот дневник?

Мне потребовалось несколько секунд, чтобы сообразить, что Тонио – это уменьшительное от Антонио. Так звали профессора Гульермо, который раздобыл дневник. Я ответил, что да, дневник очень интересный, и спросил, читал ли его Кватрокки. Он, казалось, был поражен этим вопросом.

– Нет, ни словечка. Будь Тонио жив, может быть, я бы и почитал, но... я только начинаю привыкать к тому, что я теперь... один, – голос Кватрокки дрогнул, и на глазах показались слезы.

– Мне очень жаль, – пробормотал я, поняв, что Кватрокки, очевидно, был не просто коллегой покойного и каталогизатором его архива.

– Да жалеть, в общем, не о чем, – сказал он, вытирая слезы. – Мне повезло. Я очень рано нашел своего учителя. То-

нио был моим преподавателем в университете. Мне был двадцать один год, ему – сорок два. Мы были как Леонардо и Салаи.

– Но вам-то было не десять лет! – о Леонардо и его юном ученике я знал не только потому, что много лет преподавал искусствоведение, но и по причине своей одержимости всем, что касалось Леонардо.

– Да, и я не был ни воришкой, ни пронырой, ни красавчиком – хотя в то время выглядел лучше, чем сейчас!

– Я читал, что Леонардо и сам был красивым молодым человеком, любил разгуливать по улицам Флоренции в розовых туниках и фиолетовых чулках, но состарился раньше времени.

– Как и все мы, – Кватрокки вновь провел своими пальцами, украшенными множеством перстней, по скрывающему лысину зачесу. – Знаете, официально Салаи был приемным сыном Леонардо.

– И кажется, написал копии с нескольких картин Леонардо и пытался продать их, выдав за оригиналы?

– Это не доказано, хотя могло быть. Но он, видимо, заботился о Леонардо – он оставался с ним до самой смерти, – Кватрокки отвел взгляд, глаза его вновь увлажнились. – Простите. Я все еще очень тоскую. Прошел всего месяц, как Тонио ушел из жизни, буквально накануне своего девятидесятилетия.

Он изящно промокнул глаза, затем взял себя в руки и пу-

стился в рассуждения о том, что большинство выдающихся художников эпохи Возрождения были нетрадиционной ориентации.

– ...и в их числе Микеланджело и Донателло, но один лишь Леонардо делал это открыто, остальные скрывали свою гомосексуальность, и это было благоразумно, ведь во Флоренции пятнадцатого века она была запрещена законом...

– Может быть, слишком открыто для своего времени, – заметил я. – Он даже побывал под арестом за содомию с женщиной-проституткой. И вы, должно быть, знаете про его трактат про мужской орган – «О пенисе» – где Леонардо утверждает, что пенис действует независимо от воли своего обладателя, и его следует украшать, а не скрывать? У моих студентов этот трактат пользуется популярностью.

– Похоже, ваши лекции по искусствоведению гораздо веселее моих!

– Я стараюсь, – улыбнулся я. – Вы сказали, что профессор Гульермо попросил вас связаться со мной. Как он догадался это сделать?

– Полагаю, он выяснил, что вы – правнук Винченцо Перуджи, а найти вас нетрудно – «Фейсбук», «Твиттер», сайт вашего университета. Тонио был настоящим исследователем и, несмотря на преклонные годы, очень упорным и проницательным, – Кватрокки сделал знак, чтобы принесли счет и, не слушая возражений, заплатил за нас обоих.

Улица встретила нас прохладным свежим воздухом и уже

знакомыми сочетаниями каштана и охры на старых зданиях. Кватровки нужно было обратно в университет, и я пошел с ним, надеясь получить ответы на накопившиеся вопросы.

– Вы не знаете, что он собирался написать об этом дневнике?

– Не знаю. Он не успел ничего написать. Он ушел... – Кватровки глубоко вздохнул, – ...так внезапно. Вы, вероятно, думаете, что в его возрасте смерть не является неожиданностью, но Тонио не был типичным девяностолетним стариком. Он проходил по несколько миль в день и был воплощением здоровья. Если бы не этот несчастный случай, он, безусловно, был бы сейчас с нами.

– Несчастный случай?

– Его сбил автомобиль. Нарушитель скрылся, оставив старика умирать на улице, можете себе представить? – Кватровки покачал головой. – А потом, вдобавок ко всему, на следующий день после смерти Тонио, какие-то хулиганы или наркоманы залезли в нашу квартиру и перевернули там все вверх дном. Я потом несколько недель наводил порядок.

– Что они украли?

– В том-то и дело, что ничего. Возможно, что-то искали, хотя в полиции сказали, что это была, скорее всего, шайка малолетних правонарушителей – иначе у них хватило бы ума украсть что-нибудь из нашего антиквариата, а они просто поломали несколько ценных изделий!

– Но дневник они не взяли.

– Нет. Тонио хранил его в своем кабинете в университете.

Мне пришла в голову тревожная мысль: если я мог двадцать лет искать этот дневник, чтобы разгадать вековую тайну, то этим могли заниматься и другие люди.

– А сколько времени дневник был у Антонио?

– Недолго, всего несколько недель. Хотя впечатление произвел на него сильное. Тонио не раз говорил, что читает удивительный документ – дневник человека, который украл «Мону Лизу»!

– А, так вы знакомы с содержанием.

– Это все, что я знаю.

Когда я спросил, не обсуждал ли он с кем-нибудь этот дневник, Кватрокки, кажется, даже обиделся.

– Нет. С какой стати?

– А профессор Гульермо?

– Поскольку он планировал что-то опубликовать на эту тему, думаю, что он держал свое открытие в тайне.

– Вы не в курсе, как ему достался дневник?

– Думаю, через какого-нибудь букиниста. Гульермо сотрудничал со многими из них, главным образом, местными, но знал несколько торговцев из Парижа и Германии.

– У него был список этих торговцев, или, может быть, сохранилась квитанция о покупке дневника?

– Я разбирал его бумаги, но не помню, чтобы натыкался на что-нибудь подобное, а Тонио был очень аккуратным человеком, – Кватрокки помолчал, словно вспоминая. – Хотя до

его письменного стола я лишь недавно добрался. В первую неделю было слишком тяжело этим заниматься, понимаете?

– У него была какая-нибудь телефонная книга или ежедневник?

– Для деловых встреч он вел записную книжку, и это было единственное, что он делал очень неаккуратно. Он пользовался этой записной книжкой много лет и отказывался поменять на новую. Кстати, только сейчас я понял, что давно ее не видел.

– А его мобильный телефон?

– У Тонио не было мобильного, он их терпеть не мог.

Кватрокки шел невыносимо медленно. Он распахнул пальто и вспотел, при том, что я продрог в своей кожаной курточке. Улицы здесь были очень разными – то широкими, то узкими, то с плавным изгибом, то угловатыми. Наконец, мы вышли на просторную площадь, вокруг которой выстроились модные магазины, а в центре красовалась старинная карусель с вычурными узорами, правда, похоже, не действующая.

– Площадь Республики, когда-то здесь собирался древнеримский форум, – произнес Кватрокки, указывая на триумфальную арку, под которую мы свернули. Когда мы двинулись дальше по извилистым улочкам, он взял меня под руку. Он то и дело останавливался, чтобы отдышаться, затем снова цеплялся за мой локоть, и мы шли дальше по улице, зажатой между светло-коричневыми зданиями. Не считая тяжелого

дыхания и эпизодических вздохов, он вел себя, в общем-то, спокойно, как вдруг остановился и повернулся ко мне.

– Я сейчас кое-что вспомнил: мне звонил один коллекционер старинных документов. Это он так назвался: коллекционер старинных документов. Он сказал, что слышал об этом дневнике от кого-то из старых знакомых профессора Гульермо. Он не уточнил, от кого именно, а если и называл имя, то я его не знал и не запомнил. Он спросил, не знаю ли я, где находится дневник, и даже предлагал вознаграждение.

– Что вы ответили?

– Сказал, что понятия не имею, о чем речь. К тому моменту я уже выполнил просьбу Тонио – сообщил вам о дневнике – да и не искал в этом никакой выгоды для себя. У Тонио была хорошая пенсия, у меня приличное жалованье, я ни в чем не нуждаюсь.

– И он вам поверил?

– Видимо, да. По крайней мере, больше не звонил.

По улице пронесся порыв ветра, и я в очередной раз содрогнулся, но не столько от холода, сколько от мысли, что кто-то, кроме меня, ищет дневник Перуджи. Взлом квартиры профессора и звонок загадочного коллекционера не выходили у меня из головы, и я снова спросил, не мог ли кто-нибудь еще знать о дневнике.

– Кроме меня, только один человек – моя секретарша. Она печатает мои лекции и письма, в том числе электронные – всю корреспонденцию. Но ей семьдесят восемь лет, из кото-

рых почти пятьдесят она проработала в университете, и заслуживает всяческого доверия.

– Не возражаете, если я с ней поговорю?

– Синьор Перо-ни, – произнес Кватрокки, с ударением на каждом слоге моей фамилии. – Синьора Моретти – воплощение благоразумия. Но если вы настаиваете на беседе с ней, то это будут, как вы, американцы, говорите, «ваши похороны». ¹⁷

¹⁷ It will be your funeral – подразумевается «это будут ваши проблемы, под вашу ответственность».

Он шел за этими двумя от самого ресторана, далеко позади, не боясь упустить, потому что толстяк двигался так медленно, что приходилось, наоборот, останавливаться, сворачивать в переулки или прятаться за припаркованными машинами. Хотя они его не знают, а он-то их лица изучил хорошо по фотографиям в Интернете. Перроне оказался выше и внушительней, чем на фото, а Кватрокки толще – он то и дело цеплялся за ограду, хватая ртом воздух, как рыба, выброшенная на берег.

И вот они подходят к университету, а он останавливается у ряда велосипедов и мотоциклов и закуривает, поглядывая на студентов, которые проходят мимо, смеясь и разговаривая. Он пытается вспомнить, когда в последний раз чувствовал себя таким же беззаботным – и не может.

Вместо этого вдруг приходит воспоминание, как падал брат. Он проводит тыльной стороной ладони по глазам, словно желая стереть видение, но оно не исчезает – остаточное изображение, вызвавшее эмоцию, от которого он, казалось, избавился много лет назад.

Он с силой сжимает веки и вновь открывает их, услышав, как по-девчачьи смеется жирный итальянец. Он, наверное, и визжит тоже, как баба. А к Перроне надо бы присмотреться, он на вид крепкий и напористый – как раз такой, каких

приятней всего ломать.

Вернувшись в «Палаццо Сплендор», я получил ключ от номера у того же парня за стойкой – он снова говорил по телефону, а может быть, и вовсе не прекращал. Помочь мне донести сумку на второй этаж он не предложил – при том, что лифта в гостинице не было.

Царской роскоши за сто двадцать евро в неделю я не ожидал и оказался прав. Мои однокомнатные апартаменты включали крохотную ванную (раковина, туалет, душ без занавески), мини-кухню (маленький холодильник, плита, раковина), недействующий камин с пустой каминной полкой, двухместную кровать с потертым ситцевым покрывалом, комод, на нем зеркало в деревянной раме, и наконец, шкаф, настолько узкий, что три имевшиеся вешалки входили в него только под углом. На единственном окне не было штор, но это не имело значения, поскольку оно выходило в глухой темный проулок.

Принявшись распаковывать чемодан, я почувствовал, как заботы этого долгого дня начали понемногу отступать. На смену им хлынули мысли обо всем, что я оставил позади – о работе, студии, друзьях. Вспомнился разговор с моим арт-дилером из Челси, который состоялся меньше недели назад.

– Мне придется закрыть галерею, Люк. Я просто не могу ее больше содержать.

– И чем ты займешься?

– Сделаю небольшую паузу, попутешествую. Мир искусства меня вымотал за последние десять лет.

– Меня тоже.

– Не расстраивайся, Люк. Ты найдешь себе другую галерею.

У меня не было такой уверенности. Моя последняя выставка, четыре года назад, прошла неважно, коллекционеры, прямо скажем, не выстраивались в очередь за моими работами, а я видел, что случилось с другими малоизвестными художниками, когда их галереи закрылись. В итоге они оказывались в дешевых кооперативных галереях, где боролись друг с другом за каждый кусок стены, хотя смысла в этом никакого не было, потому что коллекционеры и критики на эти выставки не ходили.

Стараясь не думать о своих картинах, я стал раскладывать белье и носки в верхнем ящике комода. Но в памяти уже возник по ассоциации другой разговор, который состоялся чуть позже с заведующим кафедрой, специалистом по искусству французского рококо восемнадцатого века. В особенности он любил Ватто и Фрагонара – художников, создававших веселенькие картины с розовыми девушками на качелях или млеющими в садах влюбленными.

«Для получения должности профессора вам нужно провести выставку своих работ».

Выставка? Без галереи? Это не так просто. Но я не стал

говорить ему, что моя галерея закрылась.

Я перестал раскладывать вещи, присел на край кровати и задумался. Чем же стала для меня эта поездка – погоней или бегством? Глаза мои закрывались от усталости, тело ослаблялось, но сознание продолжало работать.

Разговор с Кватрокки породил больше вопросов, чем дал ответов. Поход в университет закончился полным поражением. Секретарша Кватрокки, сморщенная старуха, выглядела так, будто каждый день ела американцев типа меня на завтрак. Она признала, что набирала электронное письмо, но в ответ на мой вопрос, мог ли еще кто-нибудь прочесть его, она смерила меня убийственным взглядом и молча вышла из комнаты.

Откинувшись на спину, я стал смотреть на лепнину на потолке – единственную красивую часть комнаты. Но через минуту, не в силах успокоиться, встал и достал из багажа привезенные с собой газетные статьи и полицейский снимок Винченцо Перуджи – единственное фото прадеда, которое мне удалось найти. День, когда это случилось, я помнил так ясно, словно с тех пор прошло не двадцать лет, а несколько часов.

Пыль и паутина. Грязь и мышиный помет. На чердаке душно, и под невысокой раскаленной крышей такое же пекло, как и снаружи: в середине лета в Бейонне, в штате Нью-Джерси, царит зной. Что может быть хуже? Во всяком случае, так мне казалось в мои четырнадцать лет, когда я был наказан. Вначале – летними дополнительными занятиями по

алгебре. Если икс равен игреку, то... «То какая на хрен разница?» – поинтересовался я у учителя. Он пожаловался директору, а тот – родителям. Засим последовало наказание, одно из множества в те годы. «Приберись на чердаке!» Надуманная нудная работа, чердаком никто не пользовался.

Первый час я тупо просидел на заднице, куря сигареты, а потом заметил задвинутый в угол старый пароходный кофр. На богатую добычу я не надеялся, но когда стер рукой пыль с крышки, открылись инициалы “С.П.” Через минуту до меня дошло, что кофр, должно быть, принадлежал моему деду Симону Перроне, который жил в Италии и умер до моего рождения.

Замок пришлось вскрывать отверткой. Внутри, прямо сверху, лежала винтовка, которую я тут же достал и осмотрел. Дерево немного поцарапано, ствол металлический, спусковой крючок заржавел. Я тут же представил, как похваляюсь этой находкой перед пацанами, да так потом и сделал.

Под винтовкой лежала фотография, полицейский снимок анфас и в профиль, с надписью внизу: «il carcerato 378 699».

Заклученный, значит. На обратной стороне мелким ровным почерком подпись: Винченцо Перуджа.

Мой прадед?

Больше я не обращал внимания на чердачную духоту и мух, жужжавших у самой головы. Я не мог оторваться от фотографии этого человека, этого преступника! Вечером за ужином я выложил этот снимок на стол и увидел, как отец

перестал жевать.

– Это ведь отец твоего отца, да? Мой прадедушка Винченцо.

– Это... никто, – пробормотал отец невнятно: он уже был изрядно под хмельком. – Сам не понимаешь... ерунду какую-то говоришь.

Я вскочил из-за стола и убежал: мне все равно не хотелось жевать мясной рулет с консервированным горошком. «Вернись!» – крикнул вслед отец. У матери вид был такой, словно она собиралась заплакать. Она часто плакала – а что ей оставалось, если она не могла справиться ни с мужем-хулиганом, ни с сыном-правонарушителем.

Потом я встретился с приятелями из нашего района, похвастался старой винтовкой и выпил несколько кружек пива. Но фотографию прадеда я им не показал. Этой находкой мне не хотелось ни с кем делиться.

Несколько недель я донимал родителей этим снимком, но все без толку. Они вели себя так, как будто прадеда никогда не существовало, притворялись, что не знают, о ком речь, говорили, что я спятил. А я довольно скоро выяснил, что они в прошлом поменяли фамилию – еще один до той поры неизвестный мне факт. Тогда и начались мои ночные поиски в Интернете, письма, простые и электронные, недели, месяцы, годы сбора информации – в конце концов, это стало для меня чем-то вроде миссии: узнать все возможное о Винченцо Перудже, человеке, выкравшем «Мону Лизу»!

Черт побери! Подумать только: этот чел, этот преступник, был моим прадедом. Я не мог понять, почему мои родители так стыдятся этого родства, ведь самому мне хотелось рассказать о нем всему миру. Мысль об этом казалась настолько захватывающей и опасной, что я решил выяснить все о своем прадедушке.

Но, несмотря на двадцать лет упорных поисков, этот человек до сего дня оставался для меня загадкой. До сего дня.

После прочтения лишь нескольких страниц дневника фотография будто ожила. Предчувствие не обмануло: у меня оказалось больше общего с прадедом, чем с отцом, скучным госслужащим.

Отложив в сторону фотографию, я развернул привезенные с собой газетные вырезки. Первую статью, напечатанную в «Нью-Йорк Трибьюн» в 1911 году, я давно заламинировал и помнил почти дословно.

В ПАРИЖЕ УКРАДЕНА КАРТИНА ДА ВИНЧИ

Париж, 22 августа. – Сегодня мир искусства был повергнут в ужас: стало известно, что картина Леонардо «Мона Лиза», широко известная также под названием «Джоконда», таинственным образом исчезла из Лувра.

Преступник (или преступники) не оставили следствию ни одной «ниточки». Были обследованы все укромные уголки и закоулки, от крыши до подвала, но найдены лишь драгоценная рама и стекло от картины, оставленные на лестнице черного хода.

Самое замечательное в этом деле – то, что пропажу картины почти двое суток никто не замечал: все думали, что картина убрана для фотосъемки или реставрации.

Пристроив статью на каминную полку, я стал просматривать остальные. Я привез их с собой в расчете на то, что здесь, во Флоренции, увижу в них что-то, чего не замечал раньше. Один журналист предполагал, что «Мона Лиза» была украдена кем-то с целью шантажа французского правительства; другой намекал, что картину похитили немецкие заговорщики с целью поставить французов в неловкое положение; в третьей статье, вышедшей через две недели после преступления, утверждалось, что не менее трех свидетелей видели «Мону Лизу» в поезде, направлявшемся в Голландию, но доказательств не приводилось, и имена свидетелей не разглашались. Кое-кто предположил, что картину выкрал богатый американец, «откуда-то с Запада», и якобы пронес ее на борт «Кайзера Вильгельма II», но когда корабль пришвартовался в Нью-Йорке, ни выходца с Запада, ни картины там не было – загадка, да и только.

Еще три статьи: в одной Лувр обвинялся в недостаточной безопасности, в другой высмеивали полицию за неудачное расследование, в третьей считали, что кража – не более чем розыгрыш. В Лувре, конечно, проявили беспечность. А если учесть тот факт, что директор Лувра в день пропажи картины был в отъезде, а охранник, который должен был находиться в Квадратном салоне возле «Моны Лизы» даже в за-

крытом музее, остался дома из-за болезни ребенка, то причин подозревать, что в деле замешан кто-то из «своих», было достаточно.

Наконец, еще одна вырезка, на мой взгляд, самая важная из всех. А заметка эта появилась в маленькой парижской газетке «Le Cri de Paris» ровно за год и один месяц до кражи 1911 года.

«МОНА ЛИЗА» ПРОДАНА В АМЕРИКУ

Париж, 24 июля. Заслуживающие доверия источники сообщают, что в одну из июньских ночей из галереи Лувра была украдена «Мона Лиза». Кража осталась в тайне, а в раму была вставлена копия шедевра. Это произошло благодаря соучастию сотрудника музея. Утверждается, что подлинник был перевезен в Нью-Йорк и там продан некому американскому коллекционеру.

Несмотря на то, что данная версия до сих пор не нашла подтверждения, она послужила почвой для нескольких теорий, утверждавших, что «Мона Лиза», ныне находящаяся в Лувре, является подделкой. Эта идея терзала меня с тех пор, как я впервые прочитал ее в подростковом возрасте. Причиной, по которой я оказался здесь, была надежда, что дневник Перуджи прольет свет на эту историю, и я, наконец, узнаю правду.

Фотографию прадеда я сунул под рамку зеркала, стоящего на комод. Заключенный номер 378699 был снят анфас и в профиль: темный пиджак, полосатый галстук, накрахма-

ленный воротник, густые черные волосы с аккуратным пробором, высокий лоб. Скуластый, с большой нижней губой, он неплохо выглядел, несмотря на широкий нос, наводящий на мысль об уличных драках. Бог весть сколько часов я провел, глядя на эту фотографию. Она до сих пор завораживала меня по одной простой причине: если бы не закрученные вверх усы Перуджи и немного обвисшее веко на правом глазу, его можно было принять за моего брата. Много лет я пытался проникнуть в тайну, которую хранило это настороженное лицо.

Теперь, прочитав кусочек его дневника, я понял, как мне казалось, его нужду и страсть, его жажду признания. Кое-что мне самому было слишком хорошо знакомо.

– Я не отступлюсь, – произнес я вслух, обращаясь одновременно к себе и к фотографии прадеда. Мне удалось подняться со дна, и я не собирался туда возвращаться. Трудный подросток из Бейонны остался в прошлом, пусть он там и останется.

– Я доберусь до истины, – кивнул я человеку на фотографии, сам впервые в жизни веря в эти слова. – Во что бы то ни стало!

Джон Смит в очередной раз просмотрел досье, которые загрузил на свой телефон: одно на американца, другое на итальянских профессоров – покойного Антонио Гульермо и его любовника Луиджи Кватрокки, а также переписку между Кватрокки и Перроне. Затем он отложил сотовый телефон и откинулся на спинку стула, разглядывая спальню и небольшую гостиную в гостиничном номере, который он собирался использовать в качестве временной оперативной базы. Гостиницу трудно было назвать роскошной, но Джон никогда не стремился к роскоши, он всегда считал роскошь чем-то не стоящим усилий и даже легкомысленным. Его скудно обставленная и безупречно чистая квартирка в Лионе служила тому лишним доказательством. О чем он мечтал в детстве – так это о приключениях, об увлекательной жизни, которая не укладывалась бы в рамки служебных обязанностей. В принципе, трудностей на его долю выпало немало, и он успешно с ними справлялся, но настоящего азарта не испытывал. До сей поры не испытывал.

Чувствуя одновременно усталость и возбуждение, Джон рывком перешел в «упор лежа» и отжимался на одной руке, пока ощущение бодрости и решительности не разлилось по всему телу. Тяжело дыша, он таким же рывком поднялся и, не обращая внимания на знак «курение запрещено», закурил

сигарету, открыл окно и высунулся в него до пояса, давая остыть мускулистому телу.

Вы хорошо исполняете свои обязанности, Смит, но сверх того ни шага не делаете, не выкладываетесь.

Так всего неделю назад отозвался о его работе Андерсен, его босс, этот выскочка датчанин, проработавший на своей должности меньше трех лет. Он любил рассказывать подчиненным и всем желающим, что его фамилия произошла от английского Эндрю, что означает «мужественный». Вот уж чего Смит в нем никогда не замечал.

Это он-то не выкладывался? Видимо, проведенные на службе ночи и выходные в зачет не пошли? Да он этой работе всю жизнь отдал, разве Андерсен не в курсе?

Он сделал глубокую затяжку и задумчиво проследил взглядом, как облачко дыма тает в воздухе.

Джон, конечно, понимал, что имел в виду его начальник – что его участие не способствует раскрытию дел. В отличие от вклада тех его коллег, которые не только отследили пропажу произведения искусства, но и смогли довести дело до ареста преступника и возвращения краденого.

К тому же вы плохо работаете в команде.

Вот этим Андерсен его действительно задел. Смит представил себе, как он врезал бы этому датчанину – так, чтобы кровь потекла по светлым усам и вялому подбородку.

Он еще покажет своему руководителю, да и другим тоже докажет, что умеет не только пройти дистанцию, но и пройти

гораздо дальше, выложиться по полной, чего бы это ни стоило. За двадцать лет работы аналитиком криминальной разведки у Джона выработалась профессиональная интуиция, чутье на криминал, и этим чутьем он сейчас руководствовался.

Сделав еще одну глубокую затяжку, он едва ли не до боли задержал дым в легких.

В Интерполе он отпросился в отпуск по болезни (небольшая операция, ничего серьезного, но где-то с недельку нужно будет отдохнуть и восстановиться). Для коллег это стало настоящим сюрпризом, поскольку за все время службы он ни разу не брал больничный. «Неудачи быть не должно», – подумал Смит. Неудача в этом деле станет концом его карьеры, и этого нужно избежать любым способом. Но он принял решение, и пути назад не было.

Щелчком выбросив сигарету за окно, он смотрел, как она, догорая, летит к земле. Затем взглянул на противоположную сторону темной площади Пьяцца ди Мадонна, на серое каменное здание и неоновую надпись «Палаццо Сплендор», мерцающую в ночи, как одно из этих проклятых «красных» уведомлений Интерпола.

Нью-Йорк Сити

Его супруга уже успела снять макияж и нанести слой какого-то безумно дорогого крема на хирургически подтянутую кожу лица, отчего та приобрела вид, сияющий чуть ли не до радиоактивности.

– Отличный получился вечер, ты хорошо поработала, – сказал он. Хотя еду она заказала в ресторане и официантов наняла там же, так что работать ей особо не пришлось. Да и платил за все он.

Не глядя на него, она молча небрежно сбросила свое шелковое кимоно на диван в стиле ампир, откуда то свалилось на пол бесформенной грудой. Не потрудившись поднять одежду, она легла в постель, включила лампу и, негромко клацнув кроваво-красными ногтями по мягкой обложке, взяла с ночного столика какую-то книгу: судя по названию, что-то про убийство.

– Особо не утомляй организм чтением, – посоветовал он.

– Это про гангстеров, – парировала она. – Так что и тебе, должно быть, не чуждо.

Он шагнул в ее сторону; руки непроизвольно напряглись,

а в голове промелькнули воспоминания детства: прокуренная и многолюдная букмекерская контора, ночные поездки с отцом, который иногда молчал всю дорогу, а порой разражался лекциями, которые он не осмеливался прервать, нередкие пощечины от отца, а бывало и хуже, намного хуже.

– Ну, давай, ударь меня. – Она выставила подбородок. – Я же знаю, что тебе этого хочется.

Нет, он не доставит ей удовольствия видеть, что он утратил самоконтроль. Ничего такого, что можно использовать против него в суде, она не получит, эта некогда красивая девушка, которую он увел у гораздо более молодого мужчины. Теперь ее красота перешла по большей части в разряд воспоминаний. Неплохо было бы убить ее, подумал он, и уложить ее тело в какую-нибудь вычурную позу в стиле Гойи или Веласкеса. Но нет, сам он пачкать руки не станет, хотя почему бы ему в свои шестьдесят четыре не жениться в третий раз, на такой женщине, которая оценила бы его по достоинству.

– Долго ты собираешься читать? – спросил он.

– А что? Ты же забудешь об этом, как только выйдешь в коридор.

Они уже несколько лет спали в разных комнатах.

Он отвернулся от нее с мыслью, что нужно, наконец, найти выход из этого брака и брачного контракта. Устроить несчастный случай? Это нетрудно, хотя в последнее время он был слишком занят более важными делами.

Он прошел по коридору, устланному коврами, к винтовой

лестнице и спустился на первый этаж своего особняка. Он не стал задерживаться у картины Ренуара на лестничной площадке – очередная мясистая розовая обнаженка, выбранная его тридцатидевятилетней мегерой, а на его вкус, чересчур слащавая. Мелькнула мысль, а не искромсать ли полотно на кусочки.

Следующая лестница вела в законченный подвал, оборудованный под домашний офис. Лишь две книги лежали на письменном столе. Первая – зачитанный томик Достоевского, его любимый роман «Преступление и наказание». Особенно нравилась ему первая половина, где главный герой, Раскольников, совершает убийство, считая себя сверхчеловеком, стоящим выше закона. Но вторая половина, с унылыми бреднями о чувстве вины и раскаянии, была ему не по душе. Ведь нужно просто добиваться того, что ты хочешь – как изложено во второй его настольной книге, «Государе» Макиавелли.

У стены за столом стоял высокий книжный шкаф, на полупустых полках которого сиротливо жались несколько книг по искусству и аукционных каталогов. Достав из верхнего ящика стола пульт управления, он нажал несколько кнопок, и книжный шкаф сдвинулся на колесиках в сторону. Еще ряд цифр – и кусок стены, оказавшийся потайной дверью, открыл скрытую за ним еще одну дверь, стальную. Повинуясь очередной быстро набранной команде, стальная дверь открылась, и он вошел в хранилище. Заключительный ак-

корд по клавишам пульта – и проход закрылся за его спиной: дверь, стена и книжный шкаф все поочередно вернулись на свои места.

Настал его любимый момент: предвкушать, стоя в темноте. Он наслаждался им, сколько хватило терпения, затем щелкнул выключателем, и комната залилась светом.

Восемнадцать картин. Одиннадцать рисунков. Тринадцать гравюр. Каждый шедевр – со своей системой освещения. Он собирал их тридцать лет, начав с небольшой законно приобретенной картины Пикассо Голубого периода. Помимо Пикассо, единственной легальной покупкой в этом хранилище была гравюра Рембрандта, которая в настоящее время оценивалась в полмиллиона долларов – гроши по сравнению с произведениями искусства, висящими по соседству. Он часто одалживал эти две работы музеям для выставок – показать, что он не только законопослушен, но и щедр.

Прежде чем осмотреть свою коллекцию, он выключил сигнализацию, убедился, что термостат по-прежнему выставлен на шестьдесят восемь градусов¹⁸, и проверил осушитель воздуха – оба работали от небольшого генератора. Для начала он постоял перед морским пейзажем Моне, вглядываясь в насыщенные синие и фиолетовые цвета неба и воды. Затем полюбовался на небольшую картину Ван Гога, на которой прихожане выходили из церкви. Он разглядывал полотна обстоятельно, время от времени проводя кончиками

¹⁸ 20 градусов по Цельсию.

пальцев по краске. Касаться жирной кожей хрупкого красителя – действие греховное, но он мог делать все, что заблагорассудится, хоть ласкать языком нарисованный сосок нагой дикарки Гогена, представляя себе вкус ее пота и соли, вкушая запечатленную в картине историю жизней, прожитых художником и этой простой, хоть и привлекательной молодой женщиной, которую он обессмертил.

По его телу пробежала дрожь. Он отступил подальше, любясь, словно детьми, своими сокровищами и наслаждаясь мыслью, что эта красота принадлежит ему и только ему.

Это эгоистично?

Нет, с этим он не согласен. В конце концов, разве он не позаботился об этих произведениях искусства лучше, чем те беспечные музеи и галереи, из которых их украли?

Ведь это его призвание, мистическое и божественное, практически религия. Когда он видел какое-то произведение искусства в музее или галерее, он испытывал буквально физически ощутимую вибрацию и уверенность, что он должен заполучить, спасти этот шедевр – эта мысль приходила ему в голову, как повеление свыше, от самого Господа.

Он перешел от таитянской сцены Гогена к Мадонне кисти норвежского художника Эдварда Мунка. Эта Мадонна с чуть приоткрытыми темно-красными губами была на удивление соблазнительна. Он даже облизнулся, затем уселся напротив в позолоченное кресло Уоррена Платнера¹⁹ – изогну-

¹⁹ Американский дизайнер, выпустил серию мебели, которая стала символом

тая спинка облегла его тело так, словно сделала его невесомым. Он придвинул кресло на несколько дюймов ближе к картине, металлическое основание скрипнуло по мраморному полу, и эхо откликнулось визгом в пустом подвале. Он заткнул уши, но слишком поздно: призраки были уже здесь.

Так скрежетало кресло о бетонный пол гаража, куда они вытащили того мужчину, подняв его с постели среди ночи. Глаза его были широко раскрыты от ужаса, невнятные мольбы заглушал скотч на лице. Мальчик наблюдал за ним, краем глаза поглядывая на отца, который надел на ствол глушитель, затем снял и заставил его повторить это действие. Отец нависал над ним, пыхтя от начинавшейся эмфиземы. Он мог бы и умереть от нее, если бы дотянул до этого. С глушителем он, тогда четырнадцатилетний мальчик, справился успешно, прикрепил и снял, руки двигались быстро, он пытался не обращать внимания на звуки, доносившиеся из горла того человека в кресле.

– Налепи ему на рот еще скотча, – приказал отец.

Мальчик оторвал новый кусок ленты и наложил его поверх первого, почувствовав под скотчем губы связанного человека – они шевелились, как черви. А еще запах: пахло потным телом и еще чем-то кислым, что он гораздо позже научился распознавать как страх. Он посмотрел вниз и увидел мокрое пятно, растекающееся по пижамным штанам жертвы.

– А вдруг кто-нибудь из его родственников вернется? – спросил он тогда.

– Никто не вернется. Жена уехала. Дети... не знаю, где... да и какая разница? Мне не рассказывают биографий, говорят только место и время.

– А что, если кто-нибудь услышит?

– Для этого и нужен глушитель, дурачок. Выстрел будет не бесшумным, но тихим, так что соседи не проснутся... и вообще, черт возьми, я разрешал тебе задавать вопросы?

Отец вложил пистолет ему в руку.

– Надень это. – Он протянул сыну пластиковые очки и вставил ему поролоновые пробки в уши. – Не хочу, чтобы ты оглох или ослеп. Какая мне тогда от тебя польза? – Он сипло засмеялся. – Ближе подойди. Ты не в тире.

Мальчик неуверенно шагнул вперед.

– Я сказал, ближе! – Отец схватил его за шею и толкнул к связанному. Мужчина в кресле задергался, отчаянно мотая головой.

– Давай! – взревел отец, поднимая руку сына, державшую пистолет, к груди того мужчины. – Черт, давай уже, жми на курок!

Глаза жертвы дико моргали, губы под скотчем извивались.

– Быстрее, ну! Разрази тебя гром, давай!

Мальчик выстрелил, пистолет дернулся от отдачи, издав глухой звук.

– Проклятье, мать-перемать, ты ему в плечо попал! – Отец

обхватил ладонь сына своей, прицелился и надавил ему на палец. Глухо стукнул еще один выстрел, и в центре футболки того мужчины появилось красное пятно, оно начало расплываться, прежде чем отец снова нажал на палец сына, и тогда появилось еще одно красное пятно.

– Никогда не рискуй, – наставительно сказал отец.

Мальчик смотрел, как тот мужчина опрокинулся набок вместе с креслом и уткнулся в пол гаража – вся эта сцена в подробностях отпечаталась в его сознании, хотя позже, обдумывая случившееся, он осознал, что в тот момент ничего не почувствовал.

– Молодец. – Отец с редкой для него нежностью похлопал его по плечу.

Сосредоточив внимание на винно-красных губах соблазнительной Мадонны Мунка, он снова успокоился, скользя взглядом по своей добыче, по ее мягким губам и загадочной улыбке. Это была единственная картина в хранилище, которая висела одна на всей стене. Он наклонился в одну сторону, затем в другую – она провожала его взглядом; потом он подошел ближе и коснулся кончиками пальцев потрескавшейся краски на ее щеке, воображая тепло и податливость гладкой плоти там, где их никогда не было. Он наклонился, его губы застыли в дюйме от ее губ, нарисованный лик поплыл перед глазами, голова закружилась от колдовских чар, которые она на него наложила. Дыхание перехватило, он сделал шаг назад.

Но она ли это на самом деле?

Он должен это узнать.

Он уже начал поиск доказательств, и пути назад не было.

– Любой ценой, я узнаю, кто ты такая, – прошептал он ей. – Любой ценой.

*Лаврентийская библиотека**Флоренция, Италия*

– Как вы догадались, что я уже на подходе? – спросил я, не отрывая глаз от белой коробки, уже лежавшей на коляске Рикардо. Мне стоило некоторых усилий произнести это с улыбкой, без тени подозрительности в голосе.

– Услышал, как вы проходите контроль на вахте, – ответил Рикардо.

Я кивнул, хотя сильно сомневался, что ему хватило бы времени сходить в подсобку за моим вчерашним заказом. Но отчего я стал таким подозрительным? Может быть, у меня просто развилась паранойя после стольких лет поисков этого неуловимого дневника?

– Что-нибудь не так, синьор Перроне? – Кьяра всем корпусом подалась в нашу сторону.

– Зовите меня Люк. Нет, все в порядке, – ответил я, потом мне вдруг пришла в голову новая идея. – Скажите, а есть ли у вас какая-нибудь литература о... Дуччо?

– У нас имеется очень много материала об этом сиенском художнике, синьор... – тут она улыбнулась, – Люк. Есть старинные издания и современные научные труды.

– Могу я на них взглянуть?

– Их несколько ящиков.

– Начнем с современных исследователей. – Я улыбнулся ей в ответ.

– Уно моменто, – произнесла она и затем, обращаясь к Рикардо, еще несколько слов по-итальянски, а я в этот момент почему-то подумал о тех взломщиках, что залезли к Ква-трокки, и о странном звонке коллекционера старинных документов. Кьяра еще раз поинтересовалась, все ли в порядке, и я заверил, что да, просто я немножко устал, а она сказала, что я слишком много работаю, и ласково похлопала по моей руке своими алыми ногтями. Рикардо вернулся с картонной коробкой с надписью «Дуччо II», я вытащил свою ладонь из-под Кьяриной, примостил коробку с Дуччо поверх «Мастеров Высокого Возрождения» и направился к дальнему концу длинного читательского стола – туда же, где сидел в прошлый раз.

Двое ученых, что приходили вчера, уже сидели на своих стульях – каждый из нас как бы негласно забронировал себе рабочее место. Тот, что с хвостиком, приподнял голову и, казалось, наблюдал за мной поверх очков. Я встретил его взгляд и смотрел на него, пока он не отвернулся. Затем я открыл картонную коробку «Дуччо II»: там лежали не только

папки, но и отдельные документы – именно то, что мне было нужно. Отодвинув коробку в сторону, я заново выстроил свою импровизированную крепость из папок Гульермо, достал дневник, нашел страницу, на которой остановился, и продолжил чтение.

Я не хотел идти в студию Пикассо. Но Симона уверяла, что мне нужно больше общаться с другими художниками. Мне было трудно ей отказать.

На площади Одеон я сел на омнибус и вышел на вершине холма. Поднялся еще на квартал вбок, по улочке с пекарнями и ресторанами, из которых пахло сладкой выпечкой. Вот только в желудке было пусто. С тех пор, как я поел, прошло уже несколько часов. А съел я всего лишь кусок хлеба с клубничным вареньем, которое Симона сварила из ягод, собранных в Булонском лесу.

Я свернул сигаретку, перекусил дымом и пошел по улице Равиньян к Улью²⁰. Это небольшое деревянное строение. Там помещались студии нескольких художников. В том числе Пикассо.

Я колебался. Еще не поздно было повернуть назад. До этого я уже встречался с Маленьким Испанцем, и он мне не понравился. Но наказ Симоны понуждал идти дальше.

Дверь открыл Пикассо в заляпанном краской балахоне. Велел посидеть, пока он закончит. Слишком занят был работой, чтобы прервать ее и проявить любезность.

Его студия провоняла скипидаром и льняным маслом. И

²⁰ Комплекс студий для бедствующих художников, созданный меценатом А.Буше в 1902 году.

псиной. Сама псина – убогая и старая – спала у ног Пикассо. Повсюду были холсты. Все в этом новомодном кубистском стиле. Фрагментарно и некрасиво. А еще я заметил на полке две знакомые статуэтки: иберийскую и первобытную. Очередное повальное увлечение в Париже. Я тут же вспомнил, где видел их в последний раз. У себя на работе, в Лувре! Я как бы между прочим спросил у Пикассо, где он их взял. Когда он ответил, что статуэтки достал ему друг, искусствовед Гийом Аполлинер, я почувствовал приступ гнева. Этот Аполлинер удостоил внимания мои картины на недавней выставке в галерее. Назвал их старомодными и унылыми. Слова эти до сих пор жгут меня изнутри.

Знал ли Пикассо, что статуэтки украдены? Возможно, он даже участвовал в этом. Я не мог с уверенностью сказать. Но я запомнил, что они у него.

Пикассо напевал за работой. Популярную танцевальную песенку:

Oh Manon ma jolie
mon coeur te dit bonjour
ma jolie ma jolie ma jolie...²¹

Он все повторял и повторял этот глупый куплет. Потом принялся читать мне лекцию об искусстве и моей ответ-

²¹ О Манон, моя прелестная, мое сердце говорит тебе привет, моя прелестная (франц.).

ственности как художника. Я выслушал, не перебивая, хотя его речь меня оскорбила. Пикассо стал говорить о своем друге Жорже Браке, он тоже кубист. Назвал себя и его Уилбуром и Орвиллом, братьями Райт²² в живописи. Каково самомнение! Потом он заговорил о старомодных художниках и об их озабоченности красотой. Я знал, что это камешек в мой огород. Он говорил теми же словами, какими Аполлинер ругал мои картины.

Затем Пикассо отложил кисти. Повернулся ко мне лицом. И развернул свою картину, чтобы я мог ее рассмотреть. При этом пространно объяснял, как он заново изобрел представление трехмерных фигур на плоской поверхности.

Все, что я увидел – изломанный хаос. Но я ничего не стал говорить.

Он спросил, понимаю ли я, о чем он говорит. Я почувствовал, как во мне закипает гнев.

Но я ответил спокойно. Я сказал ему, что все прекрасно понимаю, и, в свою очередь, задал вопрос. Почему бы не попытаться нарисовать красивую картину, самую красивую на свете?

Пикассо отвечал со злостью. Потому что так уже делали раньше, и сделали так, как ни у вас, ни у меня в жизни не получится!

Я сказал ему, что единственное, чего мне хотелось бы – это написать самые красивые картины, какие только воз-

²² Американские пионеры авиации.

можны.

Он посмотрел на меня, как на идиота. И сказал, что красота – удел прошлого.

Мы еще поспорили. Ни один из нас не отступил от своей точки зрения.

Пикассо, наконец, предложил мне чашку кофе. Но было уже поздно. Я был сыт по горло его лекциями. И его оскорблениями.

Я сказал, что тороплюсь по делам, и ушел.

На улице было холодно. Деревья покрылись инеем. Я остановился перед «Кафе де Абесс» и поглядел в запотевшее окно. В кафе сидел мой старый друг Макс Жакоб. Рисовал воздушные замки какой-то молоденькой красавице, которая смотрела на него, как зачарованная. К тому времени я не видел Макса уже несколько месяцев. С тех пор, как он присоединился к Пикассо, Браку и этому подонку Аполлинеру.

Мне очень хотелось посидеть с Максом и той красивой девушкой. Попить кофе. Принять участие в их оживленной беседе. Но нет. Я повернул прочь и поклялся никогда больше не возвращаться в это место. Я стал изгоем. Навсегда.

Спустившись с холма, я быстро пошел к площади Одеон. Я не стал садиться на омнибус. Мне хотелось двигаться самому. И я побежал изо всех сил по улице, идущей вверх по холму. Теперь я понимаю, что убегал от будущего в безопасное прошлое. Но и на бегу у меня не выходили из головы эти статуэтки в мастерской Пикассо. Я думал о том, как их

можно использовать против него.

Я остановился там, где Перуджа провел внизу страницы жирную черту карандашом – как я успел заметить, он таким способом обозначал конец отрывка. Какое-то время я думал об этом его визите в студию Пикассо, понимая, как он был унижен и взбешен. Конкуренция между художниками – все это я тоже слишком хорошо себе представлял. Потом я встал и потянулся: спина затекла от долгого сидения за столом. Парень с хвостиком на затылке поднял глаза и кивнул, я кивнул в ответ, с большим интересом отметив для себя, что блондинка вновь появилась на дальнем конце стола. Чтение дневника так захватило меня, что я не заметил, как она пришла.

Кьяра незадолго до этого удалилась вместе с Рикардо в подсобку; Беатрис, как обычно, сидела, склонившись над своим столом. Парень с хвостиком отошел к дальней стене зала и рассматривал книги, стоявшие там на полке. Момент был самый подходящий, и я сделал то, что задумал раньше: вынув из коробки Дуччо половину содержимого, положил туда дневник и прикрыл его, вернув материалы обратно. Если кто-то ищет этот дневник – а судя по словам Кватрокки, некий коллекционер интересовался именно дневником – сюда они не додумаются заглянуть. Правда, оставался риск, что библиотекари проверяют содержимое коробок. Не подумают ли они, что я украл дневник? Правда, Кватрокки гово-

рил, что никто не знает о его существовании, но что, если библиотекари просматривали бумаги и видели его? Сказать наверняка было невозможно, но рискнуть стоило.

Я подошел с обеими коробками к столу Кьяры. Она поинтересовалась, нашел ли я то, что искал, в материалах Дуччо, и я ответил, что да, нашел, но они мне еще понадобятся в дальнейшем.

«Certo»²³, – произнесла она со своей обычной кокетливой улыбкой.

Сходив за ноутбуком и рюкзаком, я снова отправился во-круг стола длинной дорогой и, проходя мимо блондинки, улыбнулся ей. В этот раз она улыбнулась в ответ, тогда я остановился и совершил, как мне кажется, один из самых на-хальных поступков за все мои тридцать семь лет: наклонил-ся и спросил на своем лучшем итальянском, не согласится ли она выпить со мной чашечку кофе.

– Но мне нужно еще почитать, – ответила она по-англий-ски.

– Так вы американка, – определил я.

– Да, – ответила она. – И вы, оказывается, тоже. А я дума-ла, что вы итальянец или испанец.

Вот как, она обо мне думала. Это мне понравилось. Чуть наклонив голову, я прочел название книги, которую она дер-жала перед собой: «Живопись во Флоренции и Сиене после “черной смерти”».

²³ Разумеется (*итал.*).

– А, это я читал. Огонь книжка.

– Читали? Не может быть!

– Богом клянусь. – Для убедительности я осенил себя крестным знамением. – Все, что мне нужно для счастья, – хорошая книга о бубонной чуме.

Она рассмеялась, и ее полные губы приоткрылись, обнажив ровные белые зубы.

Кьяра погрозила нам пальцем.

– У меня из-за вас будут неприятности, – прошептала блондинка.

– Извините, – прошептал я в ответ. – Но вы знаете, эта книжка издана в мягкой обложке на английском языке. Вам вовсе не обязательно читать ее здесь.

– Но мне здесь так нравится!

– Мне тоже. Но о последствиях чумы для художников можно прочесть где угодно, – сказал я, не удержавшись от доли позерства.

– Ну вот, – притворно надулась она. – Вы все испортили.

Я рассмеялся, и Кьяра устремила на нас испепеляющий взор.

– Всего лишь по чашечке кофе, – шепнул я. – Пока она не вышвырнула нас отсюда.

В читальном зале не было окон, и погода на улице преподнесла мне сюрприз: утром, когда я входил в библиотеку, было пасмурно, как перед дождем, теперь же небо над Сан-Лоренцо было акварельного бледно-голубого цвета с редки-

ми хлопковыми облаками, хотя теплее не стало.

– Натуральный? – спросил я про меховой шарф, которым она укутала шею.

– Ну, если кролик был натуральным, то да.

– Думаю, большинство кроликов – да.

– Надеюсь, вы не донесете на меня зоозащитникам?

Я хохотнул, и мы пошли по одной из улиц, расходящихся от площади в разные стороны. Улочка была узенькой, извилистой и сплошь уставленной магазинчиками: магазин модной обуви, киоск джелато²⁴, магазин модной мужской одежды, даже «Фут Локер»²⁵ здесь обнаружился. Сразу за ним было небольшое кафе, куда я и предложил зайти.

– Но погода такая хорошая... Давайте пройдемся немного.

– Конечно, – согласился я.

– А вы покладистый.

– Во всех смыслах, – ухмыльнулся я.

– Фу, вы еще хуже, чем итальянские мужчины. Вы долго тут прожили или всегда таким были?

– Прошу прощения! Нет, я здесь всего несколько дней. Кстати, меня зовут Люк Перроне.

– Значит, вы все-таки итальянец.

– Итальянец американского происхождения. Сойдет?

Ответом мне были легкая усмешка, чуть приподнятая

²⁴ Итальянский десерт, разновидность мороженого.

²⁵ Американская сеть магазинов спортивной одежды.

бровь и тот же странный взгляд, каким она посмотрела в самый первый раз – то ли вглядываясь в меня, то ли глядя насквозь, на что-то за моей спиной.

– А прозвище у Люка когда-нибудь было?

– Не-а, – ответил я. Хотя прозвище тут же вспомнил. Приятели в Бейонне звали меня Лаки, «везунчик», но от него я отрекся, когда уехал оттуда, равно как вытравил из себя джерсейский говорок и все, что было связано с прошлой жизнью.

– Значит, Люк. Имя тебе идет. – Она протянула мне руку в кожаной перчатке, на ощупь очень мягкой и явно дорогой. – Александра Грин. Пишется с немой буквой Е на конце.

– Сокращенно – Аликс или Эли?

– Это будет зависеть от обстоятельств.

– От каких?

– От того, понравись ты мне или нет. – Она оглядела меня с головы до ног. – Я еще не решила.

Мы пошли дальше по узкой улочке, главным образом, в тени, потому что здания по бокам закрывали большую часть неба. Я спросил, где она выросла, и не удивился, когда она ответила, что в Верхнем Ист-Сайде, на Манхэттене. В ней было то сочетание крутизны и изящества, которое у манхэттенских становится второй натурой. Кроме того, она наверняка ходила в частную школу.

– В квакерскую, – сказала она в ответ на мой вопрос.

А мне казалось, что она должна была учиться в ка-

кой-нибудь более престижной школе в пригороде, где-нибудь в Найтингейле или Брирли.

– А разве на Манхэттене есть квакерские школы? Я знаю только одну в Бруклине.

– Там я и училась.

– И твоих родителей не беспокоило, что тебе приходится ездить в такую даль из Верхнего Ист-Сайда?

– Мои родители в разводе, – произнесла она так, как будто это все объясняло. – Впрочем, как и у всех, наверное?

– Мои – нет, – ответил я. – У них пожизненное, условно-досрочного освобождения не предвидится.

– Несчастливы?

– Не думаю, что в их словаре есть слово «счастье». А кроме того, у них нет денег на развод.

– А-а, – протянула она и, наверное, целую минуту рассматривала меня так, словно искала во мне признаки бедности. Потом спросила, где я вырос, и я сознался, что в Нью-Джерси. Чтобы переменить тему, я спросил, для чего она приехала во Флоренцию.

– Я пишу диссертацию по... м-м... истории средних веков.

– Про чуму?

– А, это просто для развлечения, – улыбнулась она.

– Где ты учишься?

– В Барнарде. Ну, знаешь, женский колледж в Колумбийском университете.

Меня не удивило, что она учится в университете «Лиги плюща». Как после этого признаваться, что я два года корпел в муниципальном колледже, чтобы заработать портфолио для поступления в художественное училище?

– Значит, ты к тому же еще и умная девочка.

– К тому же?

– Красивая, и к тому же умная.

– Ну вот, опять в тебе заговорила итальянская кровь.

– Прости. Что бы мужчина ни сказал, у него будут проблемы.

– Дело не только в том, что говорят мужчины, но и в том, как они это говорят. Но у тебя нет проблем. Пока. – Она улыбнулась краешком рта. – Между прочим, я знаю, что ту книгу про чуму можно купить в Штатах. Это был просто один из предлогов поехать сюда. Но разве для этого нужны какие-то поводы? Здесь ведь так красиво!

И она сделала изящный полуоборот на своих высоких каблуках.

– Да, конечно, – согласился я, не отрывая глаз от ее фигуры в течение всего этого па. Двигалась она так, словно училась в балетной школе, да так оно и было, наверное. Она была явно из очень состоятельной семьи. В молодости я и представить себе не мог, что буду ухаживать за такой женщиной, не говоря уже о том, чтобы прогуливаться с ней по улицам Флоренции.

– Орсанмикеле. – Она показала на каменное здание, по-

хожее на крепость. – Давай зайдем?

Внутри эта церковь не походила, кажется, ни на одну другую: просторное полутемное квадратное помещение со сдвинутым вбок алтарем и невысокими окнами. Фигуры немногочисленных посетителей едва виднелись в сумраке.

– Сначала здесь было зернохранилище, – сказала Александра, и я вспомнил, что сам рассказывал об этом на лекциях: точно, зерновая биржа, ставшая церковью. Узнал я и богато украшенную дарохранильницу, в реальности еще более роскошную, чем представлялось. Она походила на миниатюрную готическую церковь, построенную из белого мрамора с инкрустациями из лазурита и золота вокруг ярко раскрашенного изображения Мадонны.

– Андреа Орканья, – пробормотал я. – Еще один великий художник и скульптор эпохи Возрождения.

Я подошел ближе к дарохранильнице, чтобы полюбоваться ее вычурными узорами, а Александра в это время скрылась в расположенной неподалеку часовне, но через минуту быстро вышла и схватила меня за руку.

– Уйдем отсюда.

Я предложил заглянуть в скульптурную галерею, находившуюся наверху, но Александра отказалась, ей почему-то не терпелось уйти.

– Да что случилось? – спросил я, когда мы вновь оказались на улице.

– Какой-то тип толкнул меня, сильно и, по-моему, нароч-

но.

Я спросил, как он выглядел, но она только пожала плечами.

– Трудно сказать, там было темно, но он большой такой, а еще он прошептал «берегись». Не «осторожней», а «берегись» – это прозвучало как предупреждение.

Я оглянулся на церковь и предложил вернуться туда, но Александра не захотела.

– Он сказал это по-английски? – спросил я.

Она снова пожала плечами и ответила, что точно не помнит. Потом Александра взяла меня за руку, и мы, свернув на другую улицу, пошли в какое-то знакомое ей кафе.

Там было тихо, над столами висели позолоченные канделябры, а вместо стульев стояли банкетки, обитые красной кожей.

Александра юркнула в кабинку и сбросила куртку. На ней был кремовый свитер с клинообразным вырезом, кашемировый, если я не ошибаюсь. Тонкая золотая цепочка спускалась от длинной шеи к овальному медальону, покоившемуся в ложбинке между ключицами.

Она заказала кофе «американо». Я заказал двойной эспresso.

Александра поинтересовалась, чем я занимаюсь в библиотеке, и я рассказал, что провожу небольшое научное исследование.

– На какую тему?

– Тему я пока точно не определил, – ответил я. Мне не хотелось говорить ей про дневник.

Но она принялась выпрашивать подробности, и я, чтобы сменить тему, признался, что я художник-живописец, и сразу же пожалел об этом, потому что она спросила, где я выставляюсь. Мне пришлось сознаться, что теперь уже нигде: галерея закрылась.

– Ты найдешь другую, – уверенно сказала Александра.

– Откуда ты знаешь? Ты что, колдунья какая-нибудь?

– Может быть, – ответила она. – Просто у меня насчет тебя предчувствие.

У меня тоже было предчувствие насчет нее.

Мы поговорили о Нью-Йорке: о том, как там живет – трудно, но просто; как там всегда шумно и грязно, но так здорово, как нигде больше. Поговорили об образовании, о ее учебе и моем преподавании. Александра постоянно переводила разговор на меня – и ее интерес ко мне казался искренним. С ней было легко и комфортно, как будто мы были давно знакомы, и время летело незаметно. Мне не хотелось расставаться, но когда мы допили кофе, ее настроение резко изменилось.

Александра вдруг встала и объявила, что ей нужно вернуться к себе, потому что она еще не успела толком разложить вещи. Напряжение в голосе и явная спешка как-то не соответствовали такому объяснению. Я предложил свою помощь, но она отказалась, и проводить ее до дома тоже не раз-

решила. Утешительным призом мне стал быстрый поцелуй в щеку – а еще остался запах ее духов, который я вдыхал, глядя, как она уходит, как колышется на ходу ее дубленка... стук ее каблуков становился все тише и тише... потом дверь кафе закрылась за ней.

Он наблюдал с улицы через окно кафе за Американцем – такую кличку он дал этому человеку, чтобы тот оставался для него безликим. Вот Американец и блондинка улыбнулись друг другу, и на миг в нем возникла какая-то эмоция. Он не понял, что это за эмоция, да и не хотел понимать. Эмоции никогда не приносили ничего, кроме проблем. Он посильнее затянулся и глушил дымом сигареты зарождающуюся эмоцию, пока она не угасла окончательно.

Зазвонил сотовый. Он взглянул на номер, но отвечать не стал. С работодателями можно разобраться потом. Сейчас нужно наблюдать. Смотреть через стекло, подавляя импульсивное желание войти в кафе, втиснуться между этой парочкой и ухватить одной рукой блондинку за бедро, а второй – Американца за горло. Но это не входило в его планы. Пока – нет. Его лицо налилось кровью.

Блондинка поднялась из-за стола, и он стал смотреть, как она идет. Переставляет ноги, словно породистая лошадь или модель на подиуме. Не пойти ли за ней? Он так увлекся этим зрелищем и собственными эротическими фантазиями, что не заметил, как Американец расплатился и вышел из кафе буквально в полушаге от него. Пришлось быстро отвернуться.

Подождав немного, он пошел за Американцем, затем

остановился. Ясно, тот идет к монастырю, значит, решил вернуться в библиотеку. Можно не спеша пройти на свой наблюдательный пункт у выхода из проулка и примоститься на удобных каменных ступенях. Там можно будет посидеть, оставаясь незаметным, покурить и со вкусом подумать о том, что будет дальше.

È iniziato come qualsiasi altro giorno al museo.

Этот день в музее начинался так же, как все остальные.

Я занимался изготовлением новых рам и ремонтом старых. При этом я все время передвигал картину с одного конца рабочего стола на другой. Я пытался избавиться от неотступного взгляда этой дамы Леонардо. Мне казалось, что она наблюдает за мной. Наконец, я накрыл ее тканью и стал работать как можно быстрее. Мне нужно было уйти домой пораньше. Нужно было купить Симоне меда к чаю. Нужно было развести огонь; наша квартира так быстро выстывала.

У меня оставалось всего несколько франков. От силы до конца недели. Я знал, что Симона не разрешит мне притронуться к деньгам, которые мы отложили на ребенка. Я подавил в себе гордость и попросил у начальника небольшой аванс из зарплаты. Он отказал. Мне хотелось заорать на него. Хотелось придушить. Но я взял себя в руки, потому что мне нельзя было терять эту работу. Как никогда раньше.

В обеденный перерыв я вышел на улицу. Было холодно, но мне нужно было подышать свежим воздухом. Я съел кусок

хлеба с вареньем, который завернула для меня Симона. Но в желудке все равно было пусто.

Вот тогда я и увидел его. Этот человек уже приходил накануне. Расфуфыренное такое существо в плаще и шляпе. Женоподобный мужичонка.

Я повернулся к нему спиной. Опустил голову. Но я слышал, как он приближается, постукивая по дорожке своей серебристой тростью. Наконец, на меня упала его тень.

Я поднял на него взгляд и нахмурился, прикрыв меньший глаз. Таким взглядом я отпугиваю людей, обычно это срабатывает. Но в тот раз не помогло.

Он остановился передо мной. Я сделал вид, что не узнаю его. Он протянул мне свою руку с длинными паучьими пальцами. Я продолжал его игнорировать.

Тогда он заговорил. Его акцент мне показался знакомым. Такой изысканный и гладкий, как бархат. У меня слух на такие вещи, я ведь немало потрудился, чтобы избавиться от собственного итальянского акцента. Он сказал, что он из Уругвая. Из Южной Америки. Когда он улыбается, видны его длинные желтоватые зубы. У него слабые десны.

Я стал смотреть в сторону, но это его не смутило.

Он сказал, что его зовут Вальфьерно. Маркиз Эдуардо де Вальфьерно. Он несколько раз повторил свое имя. Потом сел рядом со мной. Открыл портфель, достал оттуда яблоко и кусочек шоколада и предложил их мне, сказав, что не хочет есть.

Я хотел отказаться, но тут мой желудок прямо зарычал. Я взял у него еду и слопал. А он продолжал болтать о своем благородном происхождении и своих друзьях. Сказал, что дружит с самыми известными галеристами²⁶ современности. И что он приехал в Париж, чтобы покупать и продавать произведения искусства. Мне было интересно его слушать, но я изо всех сил старался этого не показывать.

Он спросил, не работаю ли я в Лувре. Это и так было понятно. На мне была рабочая одежда с эмблемой музея. Я кивнул. Я не хотел говорить ему, что нанят на неполный рабочий день и меня могут уволить в любой момент.

Он спросил, нравится ли мне работа. Я ответил, что это его не касается. Я встал, чтобы уйти, но он осмелился остановить меня, положив свою паучью лапу мне на руку.

У меня есть для вас предложение, сказал он. Прибыльное. Я выдернул руку из его пальцев. Сказал, что мне нужно идти работать. Но он продолжал говорить. Спросил, можем ли мы встретиться после работы. Я сказал «нет». Все мои мысли были о том, что Симона сидит сейчас в холодной квартире. И мне нужно идти затопить печь. Я быстро пошел прочь. Но он пошел за мной. И все время задавал вопросы. Сколько мне платят в музее? Нравится ли мне работа? Я не отвечал.

Он еще раз окликнул меня. Предложил выпить, угостить обедом. Говорил, что я должен выслушать его предложение.

²⁶ Торговцы произведениями искусства.

Я остановился и молча посмотрел ему в лицо.

Он смотрел на меня и улыбался. Сказал, что может предложить мне больше денег, чем заработаю в музее за всю жизнь.

Я продолжал молча на него смотреть.

Он достал из кармана маленькую серебряную визитницу и протянул мне свою карточку из плотной бумаги кремового цвета. Затем повернулся и пошел прочь, постукивая тросточкой по дорожке. Я смотрел ему вслед. Плащ кружился вокруг него на ветру, как облако черных чернил.

Я посмотрел на его визитку. Имя и адрес были выведены замысловатым курсивом. Я подумал, не порвать ли карточку в клочья. Но вместо этого сунул ее в карман своей рубы. Тогда я думал, что вряд ли увижу его еще когда-нибудь.

Вечером в ресторане было еще более шумно и накурено, чем в обед. Кватрокки опаздывал. Я просмотрел электронную почту. От него – ничего. Было письмо от заведующего кафедрой о том, что я не попадаю на ряд заседаний. Я тут же сочинил ответ: *нахожусь во Флоренции, изучаю искусство по теме, которую мне предстоит преподавать в следующем семестре. Делаю заметки, которые, надеюсь, превратятся в научную работу. С нетерпением жду возможности обсудить их с Вами как с опытным специалистом.* Немного лести, в любом случае, не повредит.

Потом я, как в прошлый раз, заказал суп минestrоне и стал думать о том, что только что вычитал в дневнике. И так, Вальфьерно. Благодаря многолетним поискам, я уже кое-что знал об этом человеке. Тот самый таинственный аферист, который, по мнению некоторых исследователей, и был вдохновителем кражи «Моны Лизы». Я представил себе, как этот прихрамывающий франт с острыми чертами лица уговаривал моего прадеда, обещая ему горы золота. Мне хотелось больше узнать о том, что же он предлагал, но пришлось прервать чтение, потому что библиотека закрывалась.

Между тем часы показывали уже восемь тридцать. Может быть, я что-нибудь сделал не так – например, чересчур давил на него своими расспросами? Но попрощались мы, кажется,

вполне любезно, к тому же он сам предложил встретиться еще раз.

Несколько раз оглядев ресторан, я встретился глазами с девушкой, сидевшей за соседним столиком. Я узнал в ней одну из студенток, здоровавшихся с Кватрокки.

– Ma scusi, stavo qui l'altro giorno e...²⁷

– Си, си. Я вас помню, – сказала она.

– Posso chiedere?²⁸

– Я говорю по-английски.

– О, прекрасно! Тот мужчина, с которым я был в прошлый...

– Профессор Кватрокки.

– Да, верно. У нас с ним назначена встреча. Вы его не видели сегодня?

– Нет, – ответила она, – но по расписанию у нас с ним сегодня нет занятий, только завтра.

– Профессор сегодня не пришел на лекцию, – заговорил паренек, сидевший рядом с ней.

– Вы не знаете, может быть, он заболел?

Парень пожал плечами.

Я еще раз проверил почту. От Кватрокки вестей не было.

Покончив с супом, я заказал кусок очень вкусного пирога с оливковым маслом, не спеша съел его, а потом, попивая эспрессо, стал думать о светловолосой Александре. Мы ведь

²⁷ «Извините, я был здесь на днях и...» (итал.)

²⁸ «Могу я спросить?» (итал.)

уже замечательно поладили – по крайней мере, мне так казалось – и вдруг она так резко ушла. Может быть, ей правда нужно было просто распаковать багаж? А может быть, она решила прервать общение, потому что почувствовала, что мы слишком быстро сближаемся? Это объяснение меня больше устраивало, мне не хотелось сдаваться.

На улице было уже темно. И, несмотря на холод, многолюдно: движение на мостовой и тротуарах вечерней Флоренции было очень оживленным. Но я уже устал, на сегодня с меня было достаточно. Я еще раз попытался позвонить Кватрокки – и снова отозвался лишь автоответчик. Когда я прятал в карман телефон, то столкнулся с каким-то мужчиной – а может, это он налетел на меня.

– Извините, – произнес я, глядя на собственное отражение в его темных очках. Во рту у него торчала сигарета. Мужчина молча повернулся и пошел дальше.

– Эй, я попросил прощения! – крикнул я ему вслед, но он тут же исчез в толпе, а дым его сигареты смешался с выхлопными газами проезжавших автомобилей.

Два длинных лестничных пролета, затем еще два покорооче. Александре захотелось подняться по ступенькам, а не на лифте, и я даже немножко запыхался – видимо, не стоило делать перерыв в тренировках. Мы добрались до лестничной площадки, и второй этаж галереи Уффици раскрылся перед нами, как сундук с сокровищами. Длинный прямоугольный зал был украшен скульптурами, огромные окна заливали все помещение светом, богатая роспись на резном деревянном потолке – все в целом было настолько эффектно, что у меня чуть голова не закружилась... а может, просто сказались четыре лестничных пролета.

За полчаса до этого я подошел к двери читального зала для научных работников, горя желанием продолжить чтение, но оказалось, что библиотекари ушли на забастовку, о чем извещало написанное от руки объявление на двери, с указанием ее часов, с 9.00 до 16.00. Цивилизованно, но досадно, и несколько читателей – уже знакомые мне двое и я – некоторое время топтались у двери, выражая свое раздражение каждый по-своему. Потом появилась Александра и предложила мне сходить в галерею Уффици. Это была уже приятная неожиданность.

– Уффици, – сообщил я, – значит по-итальянски «офисы».

– Мне это никогда не приходило в голову, – сказала она.

– Здание спроектировал художник Вазари как канцелярию семейства Медичи.

– Как здорово, что ты помнишь все эти подробности, – отметила Александра, затем взяла инициативу в свои руки и повела меня в зал с двумя большими изображениями Мадонны на троне. В своих лекциях я упоминал об этих картинах и смог произвести впечатление на Александру, издали назвав их авторов.

– Чимабуэ и Дуччо, – произнес я, невольно вспомнив при имени последнего о дневнике, спрятанном в коробке с материалами о Дуччо: не наткнулся ли кто-нибудь на эту тетрадку?

– Ты чем-то взволнован? – спросила моя спутница.

– Высоким искусством, конечно, – пробормотал я, практически не солгав.

Эти средневековые картины, видимо, вывозились из церквей, края некоторых полотен были повреждены, другие висели в рамах, явно снятых с других картин. В голове у меня промелькнуло слово «кража», и я тут же представил своего прадеда со спрятанной под рубашкой «Моной Лизой».

Александра заявила, что раннего христианства с нее достаточно, и направилась дальше по коридору. Мы перешли в зал с картинами мастера эпохи Возрождения Сандро Боттичелли.

– Потрясающе, – воскликнул я, глядя на картину разме-

ром с фреску – вернее, пытаюсь ее разглядеть поверх голов японской туристической группы человек из тридцати; все они, включая экскурсовода, были в наушниках, которые звучали как целое поле сверчков.

Я протиснулся поближе к картине, и Александра последовала за мной.

– Ла Примавера, – сказал я.

– Весна, – перевела она.

– Боттичелли здесь использовал языческий сюжет из древнегреческой и римской мифологии. Мы видим Венеру, приглашающую нас в свой сад.

– Принимаю приглашение! – откликнулась Александра, и я подумал, что она действительно могла бы проскользнуть в картину, присоединиться к трем грациям и танцевать вместе с ними. Ее светлые волосы сегодня были распущены и свободно стекали на плечи – идеальная натура для Боттичелли.

– Кто это рядом с ними, Марс? – спросила она.

– Нет, это Меркурий, бог весны, прогоняет зимние облака.

Александра посмотрела на меня, затем перешла в соседний зал, тоже посвященный Боттичелли. Там находилась его самая знаменитая картина «Рождение Венеры», богиня на половинке раковины, соблазнительная, как и любая женщина в истории искусства, хотя, по-моему, Александра могла бы составить ей достойную конкуренцию.

Оторваться от Венеры было нелегко, но я был рад, что сделал это, когда мы перешли в соседний зал, где был приту-

шен свет, а на центральной стене висел незаконченный шедевр Леонардо «Поклонение волхвов». Я видел эту картину на репродукциях, но оказался совершенно не готов к тому, что увидел в реальности. Половину картины составлял просто рисунок на холсте, почерк Леонардо проступал со всей очевидностью. Мадонна в центре казалась чуть проработанным карандашным рисунком, прекрасным призраком. Фигуры персонажей вокруг нее находились на разных стадиях доделки или вообще без нее. Все это в целом производило захватывающее впечатление: казалось, что я мог воочию увидеть, как Леонардо думает, к каким решениям он приходит во время работы. Одинокое дерево на заднем плане было написано полностью, а пейзаж и прочие атрибуты вокруг него – холмы, стены, лошади – остались в набросках.

– Что думаешь? – спросила Александра.

– Это, наверное, самая красивая картина из всех, которые я видел в жизни, – сказал я, обводя взглядом штрихи углем и мазки кистью, ощущая всю силу чувств, вложенных в незаконченные лица. Мне казалось, что Леонардо разговаривает со мной сквозь время, увлекая меня в свой мир и в прошлое.

– Как жаль, что он ее не закончил, – заметила она.

– А я рад, что он ее не закончил. Мне нравится видеть руку художника в процессе творчества, – ответил я, предположив в глубине души, что он, может быть, сделал это намеренно. Леонардо был достаточно гениален, чтобы перестать писать картину в тот момент, когда она только складывалась.

На память опять пришел отрывок из дневника: Винченцо за своим рабочим столом в Лувре делает стеклянную раму для Моны Лизы – и в этот момент я впервые смог действительно почувствовать, каково ему, видимо, было – Леонардо обладал силой, способной заманить вас, сделать частью его живых, дышащих творений.

– Рука художника, – повторила Александра, неосознанно или нарочно взяв меня при этом за руку. Разбираться в ее мотивах я был не в состоянии – меня в этот момент словно током ударило.

Она повела меня вниз по лестнице – в том состоянии я последовал бы за ней куда угодно. Но когда мы спустились, я остановился и обернулся, повинувшись какому-то другому чувству.

– Что случилось? – спросила Александра.

За миг до этого у меня возникло ощущение, что за мной кто-то следит, но вокруг было слишком много людей.

– Ничего, – сказал я и решил, что мне показалось.

Мы прошли, не останавливаясь, через залы художников-маньеристов Понтормо и Бронзино, известных своими преувеличениями и украшениями, миновали Мадонну Пармиджанино с непомерно длинной шеей. Тут я был не прочь и задержаться, но Александра уже направила стопы в другой зал, где, наконец, остановилась.

На картине две женщины держали военачальника. Одна из них вонзила лезвие ему в шею, и кровь залила край кро-

вати.

– Одна из моих любимых картин, – заметила Александра, – одной из моих самых любимых художниц.

– Артемизия Джентилески, «Юдифь, обезглавливающая Олоферна».

– Ты прочитал табличку или раньше знал?

– Это довольно известная картина, – сказал я, хотя впервые видел ее не в качестве иллюстрации в учебнике. – У меня есть целая лекция по Артемизии.

– Серьезно? А мои учителя по искусствоведению ее почти не упоминали. Все это застывшее действие удивительно, правда? Оно словно вот-вот продолжится, как стоп-кадр в кино. А посмотри на лицо полководца – его крик практически слышно!

– Одна из немногих выдающихся художниц Возрождения, – сказал я.

– Немногих известных нам, – поправила Александра.

– Живописи ее научил отец.

Александра резко повернулась ко мне.

– Так ты приписываешь ее заслуги отцу?

– Это просто факт, и все.

– Либо талант есть, либо его нет! – отрезала она. – Она ничем не хуже художников-мужчин той эпохи!

– Да я и не спорю! – я поднял руки в знак капитуляции.

Мы постояли так несколько секунд молча, но я ощущал исходившие от нее волны негодования.

– Извини, – сказала она, хотя чувствовалось, что она еще не остыла.

Потом она отвернулась и стала рассматривать следующую картину.

– Если бы я верила в Бога, то, глядя на эту картину, усомнилась бы в его существовании.

Это была картина Караваджо «Принесение в жертву Исаака»: Авраам собирается принести в жертву своего единственного сына, его рука прижимает голову мальчика к скале, нож поднят, лицо мальчика перекошено от ужаса.

– Каким садистом должен быть Бог, чтобы заставляя отца убить своего единственного ребенка? Что за отцом надо быть, чтобы это сделать? – произнесла она и встряхнула головой, словно пытаясь избавиться от этой мысли, и я снова почувствовал в ней эту вспышку яростного гнева, совершенно несоразмерную моменту и месту.

– Едва ли кто-либо еще владел кистью так хорошо, как Караваджо, – заметил я, пытаясь вернуть разговор к живописи. Я указал на динамичную композицию Караваджо, на то, как он управлял движением вашего взгляда по холсту, на сочетание красоты и уродства на его картинах, а также нового и старого – того, чего художники пытались достичь на протяжении веков. В этом месте я вновь вспомнил спор Винченцо в студии Пикассо.

Александра взяла меня за руку и потащила вперед, хотя спешить было незачем. Времени у нас было достаточно, я

так ей и сказал.

– Я не хочу, чтобы ты обвинял меня, если вдруг не закончишь свой научный труд – о чем бы он ни был, – ответила с оттенком сарказма, на который я решил не обращать внимания.

Стены следующего зала были выкрашены в темно-малиновый цвет, и он, в отличие от предыдущих, был битком забит туристами.

– Опять Караваджо. Он всегда собирает толпу, – заметила Александра.

Мы протиснулись поближе, чтобы рассмотреть его портрет Вакха. Все в этой картине было насыщено чувственностью; юноша на картине был одновременно и мужественным, и женственным.

– Он опередил свое время, – сказал я и добавил несколько ярких подробностей мучительной жизни Караваджо – его бисексуальность, изуродованное в драке лицо, обвинение в убийстве, вынудившее его бежать из Неаполя, и смерть в тридцать восемь лет по невыясненной до конца причине – то ли это была лихорадка, то ли его убили.

– Вау! – воскликнула Александра. – Мои преподаватели по искусствоведению в такие подробности не вдавались. Твои лекции гораздо интереснее.

Я предложил ей посетить мои занятия, когда мы вернемся домой, и тут же испугался, что к тому времени меня могут уже выгнать из преподавателей. Я был рад отвлечься от

грустных мыслей на картину Караваджо «Голова Медузы». Картина эта совершенно ужасающая: рот Медузы открыт в испуганном крике, глаза расширены от ужаса, из шеи струями течет кровь.

– Ты знаешь, это автопортрет.

– Да? – удивилась Александра. – Зачем же он нарисовал себя в образе Медузы, да еще с отрубленной головой?

– Не знаю, – ответил я. – Может быть, он так выразил свои размышления о смерти.

Я приблизился к картине, чтобы получше ее рассмотреть, но мне стали мешать блики света на футляре из плексигласа.

– Терпеть не могу эти чертовы коробки, – проворчал я и подумал о Винченцо, делавшем из стекла такие же футляры для защиты самых ценных экспонатов в Лувре.

– У меня от нее мурашки по коже, – сказала Александра. – Эти змеи выглядят как настоящие, они словно действительно извиваются.

Он засмотрелся на металлический блеск змеиной кожи, на отрубленную голову, на алую кровь, хлещущую из отрубленной шеи, на отблеск света в потухающих глазах Медузы. Все на картине такое яркое и настоящее, рука так и тянется потрогать, и если бы не плексигласовый футляр, он бы так и сделал – но стоп, он слишком надолго отвлекся.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.